

М. О. ГЕРШЕНЗОН

СТАТЬИ
О ПУШКИНЕ



ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ НАУК
1926


ACADEMIA

М. О. ГЕРШЕНЗОН

СТАТЬИ о ПУШКИНЕ

Со вступительной статьей

Леонида Гроссмана

ГЕРШЕНЗОН—ПИСАТЕЛЬ

1926

ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ НАУК

ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ИСКУССТВ

ВЫПУСК I

Печатается по распоряжению Правления Государственной
Академии Художественных Наук

Ученый Секретарь
А. А. Сидоров

Типография „Красной Газеты“ им. Володарского, Ленинград, Фонтанка, 57.

Ленинградский Гублит № 8793. Заказ № 4079. Тираж 2000.

Гершензон - писатель *)

Мы поминаем сегодня одного из мастеров литературного портрета. Попытаемся же почтить его в той форме, которую он так любил и над которой столько потрудился. Покойный писатель ценил в своей работе точный штрих, подлинный документ, живые и верные подробности. И он был прав: нам достаточно будет воспроизвести с возможной точностью черты его писательского облика, чтоб произнести ему высшую похвалу.

*

Ученый, историк, мыслитель, критик, исследователь, редактор — вот обычные предикаты М. О. Гершензона. Между тем над всеми ими, думается нам, должно господствовать другое определение, полнее и ярче отвечающее основной его духовной сущности.

Художник слова, мастер повествовательного стиля, создатель нового литературного жанра художественной биографии, истории-повести, монографии-новеллы, и даже общественной хроники, граничащей с психологической драмой, М. О. Гершензон, при всех своих огромных научных заслугах, принадлежит, прежде всего, литературе. Так, видимо, сам он смотрел на свое призвание, и к такому выводу неизменно приводит нас прикосновение к каждой его странице — образной и динамичной, эмоционально окрашенной и лирически волнующей. Вот почему мое поминальное слово я посвящаю Г е р ш е н з о н у - п и с а т е л ю.

Огромные, ответственные и сложные томы исследований, протянувшихся от «Истории молодой России» до «Мудрости Пушкина» несколько заслонили от нас облик замечательного артиста слова, подарившего нас этими драгоценными книгами.

---

*) Речь в Государственной Академии Художественных Наук на вечере в память М. О. Гершензона 6 марта 1925 г.

История идей, анализ миросозерцаний, обследование сложных путей духа, умственные и религиозные кризисы, критика учений, оценка верований и общественных направлений, все это так значительно, обширно, увлекательно и важно, что за этим движением систем менее заметным становился тот первоклассный словесный живописец, который разворачивал перед нами эти широкие общественные фрески или замкнутые индивидуальные портреты.

Высокая артистичность исторических трудов Гершензона сказывалась прежде всего в единстве их замысла и цельности их общей идеи. Его книги не являются серией картин или собранием материалов. Их поднимают, двигают и охватывают обширные и целостные творческие раздумия. Учение о правильном устроении каждого индивидуального духа, уверенность в том, что „пустая и грешная жизнь", разросшаяся махровым цветом „на злачной почве крепостного труда", создавала свои сложные и сильные характеры, подлежащие вниманию и изучению потомства; наконец, глубокое убеждение в призвании каждой личности осуществлять в своем бытии представший ей „образ совершенства": — вот главные стержни, объединяющие эти многообразные розыскания и изучения. Как в поэме, как в трагедии или философском романе, мы ощущаем здесь это единство замысла и отражение цельного миросозерцания в борьбе и столкновении идей.

Это особенно сказалось на тех книгах о полузабытых героях прошлого, которые можно было бы назвать Трилогией Гершензона и которые следует поставить в центр его литературного наследия; я имею в виду «Чаадаева», «Жизнь Печерина» и «Декабриста Кривцова». От канонического типа биографий их отличает острый драматизм основной темы, хотя и сосредоточенный целиком на внутренних конфликтах личности. Напряженность умственных исканий, беспокойные скитания духа, вся сложная эпопея одинокого интеллекта — здесь волнует и захватывает сильнее самых потрясающих внешних катастроф. Пусть речь идет только об этапах миросозерцания, пусть отдельные главы в «Жизни Печерина», например, названы: „Рождение мысли", „Отчаяние", „Обращение", „Пробуждение", — эти кризисы сознания сообщают им такой волнующий интерес, какой едва ли вызовет в нас самая яркая сюжетность беллетристического письма. Сложные законы чисто-артистической композиции господствуют над этими материалами и придают им движение, окраску и образность тончайшего повествовательного искусства.

Этой художественной монолитности книги соответствует творческая обработка ее отдельных моментов. В сложные

исследования о философских системах и научных исканиях прошлого Гершензон вводил нас легко и радостно. Какая трудная, громоздкая, грузная тема — славянофильство! Но опытной рукой Гершензон приподымает складки тяжеловесной, старинной драпри: „В кабинете Чаадаева, вероятно в 1840 или 1841 г. молодой Самарин впервые встретился с Киреевским и Хомяковым". Вот подлинные истоки славянофильства. Мы сразу введены в круг живых людей: перед нами молодежь сороковых годов, которая вот-вот начнет свои нескончаемые диспуты; и главное, все это происходит в том просторном и озаренном кабинете, который хорошо знаком нам по старинным эстампам и по стихам Пушкина.

И так всегда. Как сложны философские искания Петра Киреевского в многокнижной Германии 40-ых гг.! Но раскроем Гершензона:

„В первый день Рождества Киреевский обедал и провел вечер у Тютчевых, где для детей был устроен немецкий „Weinachtsbaum".

Для нас достаточно. Этот свежий запах рождественской хвои и звонкий плеск детских голосов будет долго сопровождать нас в дальнейшем изложении старых манускриптов и забытых книг. Архивная пыль уже не страшна нам.

Еще пример. Сколько изучений посвящено у нас знаменитому кружку Станкевича, его идейным битвам, нарождению западничества, общественной роли вождя этого философского содружества. Но к этой теме подходит с обычным вниманием к живым героям автор «Молодой России»: «Станкевичу идет 20-ый год. Он мил, изящен, умен и беззаботен. Со стороны глядя, можно подумать, что он счастлив и живет непосредственно всем существом. Но это не так: едва заметная трещина уже бороздит его ясный образ». Мы сразу вступаем в самую гущу сложной психологической повести.

Эпоха всегда дается в летучих беглых намеках. Не история быта, а лишь мелькающие его фрагменты, дающие нам ощущение реального. Моды, костюмы, обстановка, украшения — все вещественные следы былого никогда не являются предметом и целью в книгах Гершензона. История в гонкуровском смысле ему чужда. Духовная культура всегда доминирует у него над этими осязаемыми явлениями быта, которые здесь еле намечены и слегка лишь очерчены. Так, по слову Гершензона — поэзия Огарева „не показывает в ярком свете материальную действительность, но лишь позволяет угадывать ее".

Но иногда эти мелькающие видения прошлого разворачиваются в обширные и детальные картины. Остановимся на одном отрывке, особенно показательном в этом отношении.

Быть может потому, что речь идет о самых любимых и заветных образах Гершензона — о Пушкине и Чаадаеве — сближение их имен вдохновляет его на особенно пластическую, живую и яркую страницу:

„Легко представить себе, как с шумом и хохотом, сверкая белыми зубами, врывается в кабинет Чаадаева смуглый, курчавый, невысокий, быстрый в движениях юноша — Пушкин. Он, может быть, кутил до утра, но у него крепкие нервы, и очень вероятно, что, проснувшись поздно, он еще час-другой, полулежа в постели, писал свою поэму о Руслане, потом оделся небрежно-щегольски, вышел на Невский, прошелся и решил зайти к Чаадаеву. Между ними, казалось бы, не должно быть ничего общего. Чаадаев — аристократ, блестящий гвардейский офицер и, вместе с тем, ученый мыслитель... Он богат и независим; его спокойная уверенность в обращении с людьми — вероятно, предмет страстной зависти для Пушкина; он импонирует сдержанной любезностью — вот в чем его сила. Его кабинет — сочетание элегантности и учености. Что свело этих двух несхожих молодых людей? — Но это будущий величайший поэт России и ее сильнейший философский ум“.

Какая мастерская страница! И как отрадно и радостно читателю, после этой превосходной картины перейти от живых фигур к вопросам поэзии и философии, искусства и политической мысли.

Этот прием развертывания внутренней драмы на фоне живой и конкретной действительности встречается и в историко-литературных трудах Гершензона.

Мы знаем, как темны и запутаны душевные кризисы великих творцов и мыслителей, как загадочен путь „перерождения убеждений“, как, по слову Достоевского, „трудно менять богов“. Нелегко и зафиксировать в слове эти катастрофические моменты большого, мятущегося сознания в момент его критического перелома.

Но вот Гершензон подходит в такую минуту к Тургеневу: „Солнце садилось в полесской гари, все кругом затихло, готовясь к усыплению ночи; Тургенев лежал у дороги, ожидая, пока запрягут лошадей. И тут не с громом и молнией, а в тихом веянии снизошло на него откровение“... Следует этюд о натурфилософии Тургенева.

И все подобные места не просто — зачины, заставки или виньетки, цель которых возбудить внимание, поднять интерес, занимательно начать. Они органически слиты со всей повествовательной манерой и беглым штрихом намечают дальнейший внутренний драматизм повествования.

Так понимал Гершензон задания историка. И как немногие из русских мыслителей и ученых, он обладал замечательным даром делать волнующим идеи, драматизировать абстракции и этим захватывать своего читателя. „Воскресить полузабытый образ“, „понять мысль в связи с жизнью“, „раскрыть душевное ядро в человеке“ на основе его жизненного опыта, „изобразить историю общественной мысли в ее живой конкретности“, развернуть „картину эпохи в смене личных переживаний“ — вот какие задания он постоянно ставил перед собой. И для их разрешения аналитику-исследователю должен был сопутствовать поэт-созерцатель, не собирающий только, но и творчески претворяющий объекты своих наблюдений.

Нужно признать, что в русской литературе Гершензон создал этот превосходный исторический жанр. Он ввел у нас эту форму замкнутого и живого исторического повествования, которая до него лишь на Западе имела некоторых представителей. Не собираясь поднимать вопроса об учителях Гершензона, отметим некоторую традицию в разработке его жанра, восходящую к корифеям мировой литературы.

Одним из самых ярких представителей его был несомненно Карлейль. Автор «Героев и героического» считал, что история есть сумма биографий и что основная задача историографии — воскрешение и оживление минувшего — легче всего может быть разрешена изучением жизни отдельных выдающихся деятелей. На этом стержне развернулись красочные эпопеи английского историка. Он, как известно, исходил из великого образца биографического жанра, из автобиографии Гёте. «Dichtung und Wahrheit» представлялась ему самой прекрасной из всех существующих книг, великим даром поэта человечеству. Он называл ее „Одиссеей, изображающей странствования и блуждания не во внешнем мире, а во внутренней душевной сфере человека, до тех пор, пока странник снова обретает свою родину, т. е. становится предметом спокойного самосозерцания“...

Другой представитель того же художественно-исторического метода, — конечно, Тэн. Он признавал высшей заслугой историка — изучить человеческие события в живых личностях, которые их создают или переживают. Не нужно, чтоб абстракции скрывали от нас контуры вещей и облики деятелей. Во Франции в XVIII веке — 20 миллионов населения, 20 миллионов человеческих жизней. Какая память, какое воображение в состоянии представить себе эту огромную живую ткань во всех ее узлах и волокнах? А между тем, именно она то и является подлинным объектом истории, и в труде летописца первое место принадлежит — этим необъятным множествам, этим бесвестным массам, этим исчезнувшим бесчисленным толпам. Как

изучить, как осветить и зафиксировать этот неуловимый поток существ? Не единственный ли способ — выделить из этой массы отдельные группы, из этих групп характерные фигуры. И не является ли поэтому монография наилучшим инструментом историка?

Таковы были предшественники Гершензона. Но созданная им у нас историческая форма получила особые своеобразные черты, тесно связанные с русской жизнью, литературой и общественностью. При разнообразных книжных воздействиях и различных национальных уклонах, покойный писатель был проникнут темами русской культуры, ее считал своей духовной родиной, постоянно жил ее преданиями, проблемами и устремлениями.

И прежде всего — он несомненно сообщил нашему повествовательному стилю некоторые новые оттенки. Он нашел приемы и средства утончить или оживить русскую философскую прозу. В сложной области этих трудных научных тем он сумел придать языку какую то новую впечатлительность, большую нервность, окрашенность и остроту, при сдержанности и простоте общей манеры. Он умел ровную ткань своего рассказа оживлять тонким афоризмом или яркой и живописной словесной формулой. Вспомним:

„Чаадаев любил готический стиль: его философия — словесная готика". — „Старое мировоззрение рухнуло — начался великий ледоход русской мысли". „Личное спасение — это загробный гедонизм". — „Петрарка — первый турист нового времени". — „Свет проповедей Толстого — жестокий свет и больно ранит сердце, томящееся во сне".

Над каждой из таких сосредоточенных и кратких фраз, открывающих бесконечные перспективы мысли, можно мечтать часами. И замечательно, что вопросы словесной культуры действительно постоянно занимали М. О. Гершензона, и филология у него как-то соприкасалась с философией и этикой. Для него важно, что „в санскрите невзгода и теснота выражаются одним и тем же словом, простор и благоденствие — тоже одним". И какой прекрасный словесный комментарий дает он в своих афоризмах:

„Русский привет расставанья: „прощай!" удивительно хорош по смыслу. Прежде всего не о чем нибудь другом, а о прощении, и при том: не теперь однократно прости, но прощай непрестанно во все время разлуки; каждый раз, как вспомнишь обо мне, — прости чем я тебя обидел. Уж наверное чем нибудь да обидел: ведь я только человек"... И тут же указание на то, что слово „прощай" неблагозвучно и что недаром Пушкин „неизбежно употреблял более мягкое „прости",

наперекор народному языку: „Прости, он рек, тебя я видел“ или „Прости и ты, мой спутник странный“.

Так мысль Гершензона была направлена к проблемам русской речи, которой он явственно указал в плане исторического повествования еще неиспользованные стилистические приемы. Как все его писания, и эти страницы о минувшем проникнуты редким чувством меры, поразительным чутьем границ, безошибочным и строгим вкусом, диктующим писателю великие законы сдержанности и простоты. Этим Гершензон замечательно отвечает общему стилю русской литературы XIX-го века с ее ровным, рассеяным, матовым и поразительно успокаивающим освещением без резких бликов и контрастных пятен. Достоевского из этого круга приходится, конечно, исключить. И я знаю по личным беседам с М. О., что автор «Бесов» был ему чужд. Но световая атмосфера Тургенева, Льва Толстого, Тютчева, Гончарова или Чехова дает тот же тон и отбрасывает такие же мягкие светотени.

И в этом отношении, конечно, был прав писатель, сравнивший книги Гершензона с пейзажами Левитана. „Оба, и Левитан, и Гершензон умели схватить как то самый воздух России, этот неясный воздух, несолнечный, этот обыкновенный ландшафт и обыкновенную жизнь, которые так присасываются к душе и помнятся гораздо дольше разных необыкновенностей и разных величавостей“...

Таков общий облик почившего писателя. Все эти явственные черты художнической организации были охвачены высшим признаком подлинно творческой натуры: влюбленностью в свои видения. Не хладно и не спокойно брался Гершензон за свои исторические или философские труды. Он обращался к ним в силу тех категорических императивов сердца, которыми определяется созидательный труд художника. „За что я л ю б л ю, за что Россия л ю б и т Т у р г е н е в а“? вот обычная постановка его тем. И в их развитии он умел идти дальше простого ответа на этот вопрос о причинах душевной тяги к писателям,— он открывал новые источники влечения к их творчеству, и внушал нам свою неистощимую влюбленность в забытые и неумирающие „образы прошлого“.

И как всегда в таких случаях, происходило чудо оживления мертвецов. Сквозь очарования своего прозрачного стиля историк выводил из забвения два-три поколения русских людей и показывал нам этих ушедших героев в их напряженной внутренней жизни и архаически-изящном внешнем облике. Он показал нам, как они жили, учились, мыслили, спорили, боролись и до отчаяния томились гнетом мрачной эпохи и суровыми постулатами жадно ищущей мысли. С редким даром великого

живописца душ он заставил нас любоваться этими неведомыми людьми, жить их запросами, мучиться их внутренними конфликтами, болеть их душевными ранами и сострадать их нравственным драмам.

Это может показаться малым, и как это значительно! Прекрасное искусство историка развернуло перед нами тот подлинный мир, который был знаком нам в бессмертных отражениях Пушкина, Грибоедова, Гоголя, Тургенева, Льва Толстого. Нам раскрылась какая то обширная область русской жизни, пребывающая в плане величайших шедевров ее поэзии, им сопутствующая и наново озаряющая их светом исторической были. Книги Гершензона связаны какими-то неразрывными нитями с бессмертными страницами русского классического романа. Вот почему, быть может, в них так просторно и свежо, столько воздуху и так свободно дышется. В известном смысле они соседствуют с «Дворянским гнездом» и «Войной и миром», с «Горе от ума» и «Пиковой дамой». Не только в научной традиции, но и в читательском представлении они уже стоят рядом.

Не является ли этот несомненный факт самой полной оценкой и наградой их автору? Он принес в русскую литературу свое сердце еврея, влюбленного в славянскую душу, и с подлинной праведностью в выполнении своего призвания, простодушно и ненамеренно, осуществил свое жизненное дело и оказался неожиданно для себя на вершинах русского творчества рядом с его великими и незабываемыми именами. И для нас, его современников, слушателей и собеседников, уже ясно, что история русской литературы сохранит навсегда эти глубоко своеобразные, пленительно-одухотворенные и пластически-прекрасные творения, а вместе с ними будет жить и память о создавшем их замечательном художнике русского слова.

Леонид Гроссман

Чтение Пушкина

В старину мальчика учили читать сперва по складам, что заставляло его осмысленно воспринимать отдельные буквы и их соединения в слоги, и лишь этим способом доводили до уменья читать по верхам, т. е. бегло. Результат такой выучки был весьма благотворен; человек на всю жизнь сохранял и в беглом чтении привычку членораздельного внимания; он видел каждое слово и следил за расположением слов в предложении. В наше время ребенка сразу обучают беглому или интуитивному чтению; едва ознакомив с начертанием букв, его учат с одного взгляда угадывать целое слово, и затем тотчас следующее и следующее, и так быстро скользить по мгновенно узнаваемым словам до конца предложения, не вглядываясь ни в одно из них, можно сказать — даже вовсе не видя их. Современный читатель не видит слов, потому что не смотрит на них; мудрая и прекрасная плоть слова ему не нужна, — он на бегу, мельком улавливает тени слов и безотчетно сливает их в некий воздушный смысл, столь же бесплотный, как слагающие его тени. Поэтому в старину люди читали сравнительно медленно и созерцательно, как пешеход, который на ходу видит всё в подробности, и наслаждается видимым, и познает новое, а нынешнее чтение подобно быстрой езде на велосипеде, где придорожные картины мелькают мимо, сливаясь и пропадая пестрой безразличной вереницей. Ища прежде всего быстроты, мы разучились ходить; теперь только немногие еще умеют читать пешком, — почти все читают велосипедно, по 30 и 40 верст, т. е. хотел сказать — страниц в час. Спрашивается, что̀ они видели в этих быстро-промелькнувших страницах, могли ли что нибудь заметить и разглядеть?

Всякую содержательную книгу надо читать медленно, особенно медленно надо читать поэтов, и всего медленнее надо из русских писателей читать Пушкина, потому что его короткие строки наиболее содержательны из всего, что на-

писано по русски. Эту содержательность их может разглядеть только досужий пешеход, который движется медленно и внимательно смотрит кругом. Его глубокие мысли облицованы такой обманчивой ясностью, его очаровательные детали так уравнены вгладь, меткость его так естественна и непринужденна, что при беглом чтении их и не заметишь. Но пойдите пешком по Пушкину — какие чудесные цветы у дороги! Что̀ цветы! вот ручей играет серебром на солнце; вот смеющийся луч вдруг омрачен наползающей тучей, а там горы, увенчанные вечным снегом, тяжкой громадой обстали горизонт. Тут улыбка и слезы ребенка, шалость влюбленного, божественно-свободная игра душевных сил, и безысходные раздумья о судьбе, о загадочной жизни, о смерти.

Не буду говорить о философской глубине Пушкинской поэзии, куда проникнуть может только пристальный взор, о чрезвычайной замкнутости его произведений, с виду столь открытых и ясных, отчего многие из них, как это ни странно сказать, до сих пор остаются для нас запечатленными. Но даже в простом чтении — какую богатую жатву могла бы давать медлительность, и какие чудесные подробности ускользают от торопливого взгляда!

Вы не заметите в беглом чтении, как Татьяна ждет ответа на свое письмо.

Но день протек, а нет ответа.
Другой настал: все нет как нет.
Бледна как тень, *с утра одета*,
Татьяна ждет: когда ж ответ?

Это очаровательное, так легко сказанное „с утра одета“ говорит многое. Оно говорит, прежде всего, что Татьяна с уверенностью ждала — не ответного письма от Онегина, а самого Онегина (в чем тонкое женское чутье ее и не обмануло). И оно показывает ее нам в эти дни с утра причесанной, затянутой, одетой не по домашнему, — а тем самым косвенно обрисовывает и ее обычный затрапезный вид, когда она вовсе не была „с утра одета“, а может быть до обеда нечесанная, в утренней кофте и туфлях упивалась романом. Так много содержания в трех легких словах!

Карл и Мазепа после Полтавского поражения бегут на юг. Они скачут через Украинские степи. И вот близ дороги хутор: то хутор Кочубея. Мазепа с содроганием видит

запустелый двор,
И дом, и сад уединенный,
И в поле отпертую дверь.

Невозможно полнее изобразить внезапное обезлюдение усадьбы, откуда все обитатели в паническом ужасе бежали сразу, бросив ее на произвол судьбы; неужели это сделал поэт одной чертой: отпертой в поле дверью. Даже такая мелочь стоит минутной остановки: дворовые девушки, собирая ягоды, поют (в «Онегине»):

Закидаем вишеньем,
Вишеньем, малиною,
Красною смородиной.

Эти три ягоды перечислены не случайно: они действительно поспевают в средней России одновременно, — их то верно девушки и собирают теперь, отчего их и называют. И с тем вместе именование этих ягод определяет дату свидания Онегина с Татьяной: с средней России эти ягоды поспевают в конце июля, начале августа.

В беглом чтении еще легче ускользнет от внимания одно много говорящее слово, какие так часто встречаются у Пушкина. В те самые дни ожидания, увидев, наконец, из окна Онегина, въезжавшего во двор, конечно к крыльцу, Татьяна прыг в другие сени, т.-е. в черные сени, оттуда через задний двор — в сад, расположенный, как обыкновенно, позади дома.

В «Арионе» сказано:

Лишь я *таинственный* певец
На берег выброшен грозою,

т.-е. его спасение от кораблекрушения поставлено в связь с его особенной, „таинственной" природой; все бывшие в челне погибли, спасается лишь он один, а спасается не случайно: он спасен, потому что он певец. Такова действительно была мысль Пушкина, и словом „таинственный" он на нее намекает; много раньше, в стихотворении «Дельвигу» он выразил ее прямо:

Наперснику богов (т.-е. поэту) не страшны бури злые:
Над ним их промысел высокий и святой.

В «Цыганах» Алеко, выслушав рассказ старого цыгана о его Мариуле, бежавшей от него с чужим табором, в ярости восклицает:

Да как же ты не поспешил
Тотчас вослед *не благодарной*,
И хищнику, и ей, коварной,
Кинжала в сердце не вонзил?

Он весь сказывается в этом одном слове: „неблагодарной“ Женщина должна быть благодарна мужчине за любовь и мужчина вправе наказать ее, если она разлюбит. Так присущее ему и до тех пор скрытое рабовладельческое понимание любви этим словом вспыхивает наружу; огромная часть характера обрисована одним нечаянно-вырвавшимся словом. Разве не наслаждение заметить и понять его, — и разве возможно заметить его при велосипедном пробеге чрез «Цыган»?

Или из красот другого порядка, — разве не жаль иной стилистической тонкости, бесследно тонущей в невнимании читателя? Вторая строфа стихотворения «Поэт» начинается так:

Но лишь божественный глагол
До слуха чуткого коснется.

Едва ли и один из тысячи читавших «Поэта» понял, что значат эти два стиха. А они только продолжают тот образ, которым за шесть строк перед тем начинается стихотворение:

Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон...

„Божественный глагол“ и есть зов Аполлона, требующий поэта к „жертвоприношению“... В стихотворении «Полководец» заключительные строки: „О люди! жалкий род, достойный слез и смеха“ вовсе не составляют нравоучительного привеска к описательной пьесе, как думают все. Пушкин так описывает портрет Барклая де Толли, внушивший ему его стихотворение:

Он писан во весь рост,
(и т. д.)
... Спокойный и угрюмый,
Он кажется глядит *с презрительною думой.*
Свою ли точно мысль художник обнажил,
Когда он таковым его изобразил,
Или невольное то было вдохновенье —
Но Доу дал ему такое выраженье.

Вот эту мысль Доу, мысль заложенную в самом портрете, Пушкин только раскрывает в своем стихотворении, отсюда до самого конца; он только объясняет „презрительную думу“ Барклая, выраженную в его лице художником; то сам портрет говорит, то говорит портретом Доу, а не Пушкин: „О люди! жалкий род“, и т. д. И все стихотворение, так понятое, получает вид такой цельности, такого внутреннего единства, такой скромности, которые разглядеть — большая радость. Что Доу сказал портретом, то Пушкин передает нам

словами; от себя он привносит только свое согласие с художником, и потому в заключительных строках:

Но чей высокий лик в грядущем поколенье
Поэта приведет в восторг и умиленье —

он говорит не о себе („поэта“): он разумеет Доу и себя вместе, и вообще всякую поэтическую душу.

И то новое, о чем я дальше хочу рассказать, узнал я путем медленного чтения, вглядываясь в стих, часто даже в отдельное слово. В Пушкине есть места, „куда еще не ступала нога человеческая“, места трудно доступные и неведомые. Виною в том не его темнота, а всеобщий навык читать „поверхам“, поверхностно. Но кто отважится пойти пешком, тот проникнет всюду и во всяком случае увидит много любопытного.

Пушкин и Батюшков

Если бы иностранец спросил нас, оригинальна ли поэзия Пушкина, мы с полным правом могли бы ответить ему утвердительно. Между тем оригинальность в поэзии — понятие условное и неопределенное. Величайший из поэтов, Шекспир, большею частью заимствовал сюжеты своих драм, „Фауст“ Гёте основан на старой легенде. И у Пушкина найдется, вероятно, не мало заимствований. Все знают историю „Пира во время чумы“ и „Анджело“; возможно, как теперь пытаются доказать, что он кое-что заимствовал у Кольриджа, что в „Пиковой даме“ есть черты, взятые у Гофмана, и т. п. Тот же иностранец, приступив к ознакомлению с русской литературой Пушкинской эпохи, очень скоро напал бы на явный плагиат у Пушкина; он с торжеством открыл бы перед нами и предложил прочитать следующую страницу из статьи Батюшкова „Прогулка в Академию Художеств“:

„Вчерашний день поутру, сидя у окна моего..., я предался сладостному мечтанию, в котором тебе не могу дать совершенно отчета... Помню только, что, взглянув на Неву, покрытую судами, взглянув на великолепную набережную..., любуясь бесчисленным народом, который волновался под моими окнами, сим чудесным смешением всех наций, в котором я отличал Англичан и Азиатцев, Французов и Калмыков, Русских и Финнов, я сделал себе следующий вопрос: что̀ было на этом месте до построения Петербурга? Может быть, сосновая роща, сырой, дремучий бор или топкое болото, поросшее мхом и брусникою; ближе к берегу — лачуга рыбака, кругом которой развешены были мрежи, невода и весь грубый снаряд скудного промысла. Сюда, может быть, с трудом пробирался охотник, какой-нибудь длинновласый Финн

За ланью быстрой и рогатой,
Прицелясь к ней стрелой пернатой.

Здесь все было безмолвно. Редко человеческий голос пробуждал молчание пустыни дикой, мрачной; а ныне? Я взглянул невольно на Троицкий мост, потом на хижину великого монарха.. И воображение мое представило мне Петра, который в первый раз обозревал берега дикой Невы, ныне столь прекрасные! Из крепости Нюсканц еще гремели шведские пушки; устье Невы еще было покрыто неприятелем, и частые ружейные выстрелы раздавались по болотным берегам, когда великая мысль родилась в уме великого человека. „Здесь будет город", сказал он, — „чудо света. Сюда призову все художества, все искусства. Здесь художества, искусства, гражданские установления и законы победят самую природу". Сказал — и Петербург возник из дикого болота".

Эту страницу чужой прозы Пушкин, не обинуясь, переложил в стихи — во вступлении к своему „Медному Всаднику":

На берегу пустынных волн
Стоял он, дум великих полн,
И вдаль глядел. Пред ним широко
Река неслася; бедный челн
По ней стремился одиноко.
По мшистым, топким берегам
Чернели избы здесь и там,
Приют убогого чухонца;
И лес, неведомый лучам
В тумане спрятанного солнца,
Кругом шумел. — И думал он:
„Отсель грозить мы будем шведу;
Здесь будет город заложен
На зло надменному соседу"...

Прошло сто лет — и юный град,
Полнощных стран краса и диво,
Из тьмы лесов, из топи блат
Вознесся пышно, горделиво.
Где прежде финский рыболов,
Печальный пасынок природы,
Один у низких берегов
Бросал в неведомые воды
Свой ветхий невод, ныне там
По оживленным берегам
Громады стройные теснятся
Дворцов и башен; корабли
Толпой со всех концов земли
К богатым пристаням стремятся,
и т. д.

И все же поэзия Пушкина, как и „Гамлет", и „Фауст", несомненно оригинальна. Очевидно здесь требуется пояснение; все дело в том, что̀ признавать в поэзии носителем оригинальности.

Отнюдь не задаваясь целью рассмотреть этот вопрос в полном объеме, я хочу сообщить здесь лишь несколько частичных наблюдений, могущих послужить материалом для его решения. Наблюдения эти касаются как раз отношения поэзии Пушкина к поэзии Батюшкова, его ближайшего предшественника, оказавшего на него заведомо наибольшее влияние.

В „Гольфстреме" я обнаружил у Пушкина наличность своеобразной теории, по которой жизнь есть горение, душа —

огонь, горящий то сильнее, то слабее; отсюда вся психологическая терминология Пушкина: высшее напряжение жизненности в человеке он определяет словами „пламенная душа“, всякое сильное чувство, всякую страсть называет пламенем и, напротив, бесчувствие — остылостью, холодом. Стоит любой странице раскрыть стихотворения Батюшкова — перед нами та же термодинамическая психология во всех подробностях; все ее основные речения Пушкин готовыми нашел у Батюшкова. Если Пушкин множество раз говорит: „Воскреснув пламенной душой“, „Впервые пламенной душой — Она любила“, „И гаснет пламенной душой“ и т. п., то Батюшков уже до него писал:

И в пламенной душе на веки начерталась

(Посл. к И. М. Муравьеву-Апостолу),

Вас пламенны сердца приветствуют стократ

(Таврида),

Любимец нежной музы
И пламенных сердец

(Ответ А. И. Тургеневу).

Привычное Пушкину употребление слов „пламень“, „огонь“, „жар“ в психологическом смысле встречаем уже у Батюшкова. У Пушкина:

Он создал нас, он воспитал наш пламень...
Но в нем пылает пламень скрытый...

— у Батюшкова:

И в осень дней твоих не погасает пламень,
Текущий с жизнию в крови

(К престарелой красавице);

У Пушкина:

Твоим огнем душа палима, —

У Батюшкова:

Еще он любит голос лирной,
Еще в душе его огонь...

(К С. С. Уварову);

у Пушкина много раз — „сердца жар“: „неизъяснимый сердца жар“, „священный сердца жар“, „сердца жар неосторожный“, и т. п., — у Батюшкова раньше:

Но слезы умиленья,
Но сердца тихий жар...

(Мои пенаты)

И весь арсенал речений, определяющих любовную страсть, как огонь, жар, пламень, — речений, с такой изумительной виртуозностью разработанных Пушкиным (Гольф., стр. 45 — 55), — полностью представлен уже у Батюшкова, по крайней мере в основных, типических формах. Уже Батюшков писал: „И в буре пламенных страстей“ (Надежда), „от пламенных страстей“ (К другу), „Восторги пылкие“ (из Павла Силенциария), „В восторге пламенном“ (Истинный патриот), „И первый жар в крови“ (Мечта), „пламенный Эрот“ (дважды Из Гедила и Привидение).

Любовь еще горит во пламенных мечтах
Любовницы Фаона.

(Мечта);

О, пламенный восторг, о, страсти упоенье,
О, сладострастие...

(Мщение);

Где любовник воскресает
С новым пламенем в крови.

(Отрывок из элегии);

Вдохни огонь любви в холодные слова.

(Послание к гр. М. Ю. Велеурскому);

Полмертвый, но сгораю;
Я вяну, но еще так пламенно люблю,

и т. д. (Из греч. антологии XII).

Это — терминология и часто стилистика Пушкина. Точно так же и определение поэзии и поэтического вдохновения, как огня, Пушкин нашел готовым у Батюшкова: достаточно сравнить выдержки из Пушкина, собранные в „Гольфстреме“ (стр. 55 — 60), со следующими стихами Батюшкова:

И огнь поэзии...
Наш Пиндар чувствовал сей пламень потаенный,
Сей огнь зиждительный...

(Послание к И. М. Муравьеву-Апостолу);

там же —

Пламенный оратор иль пиит, —

как в другом месте (К портрету Жуковского) — „пламенный Тиртей“;

Я чувствую, мой дар в поэзии погас,
И муза пламенник небесный потушила

(Воспоминание);

Там скальды пели брань, и персты их летали
По пламенным струнам

(На развал. замка в Швеции).

Все это — Пушкинские речения: „огнь поэзии“, „огнь поэзии чудесный“, „пламенный поэт“ и т. д., — вплоть до „пламенника“: „Твой (поэта) светоч, грозно пламенея“ (А. Шенье).

Уже Батюшков употреблял глагол „кипеть“ в психологическом смысле. Он говорит: „кипяща брань“ (На развал. замка в Швеции), „Тебя, младый Ринальд, кипящий как Ахилл“ (Умирающий Тасс), как позднее Пушкин: „кипящий Ленский“ или „Но юноше, кипящему безумно“. У Батюшкова: „О, други, как сердце у смелых кипело“ (Песнь Гаральда Смелого), — у Пушкина:

Моя душа
В то время радостно кипела

(Цыганы).

У Батюшкова: „И в радости... кипел и трепетал“ (На развал. замка в Швеции), — У Пушкина то же:

Я закипел, затрепетал

(Выздоровление),

Любовник под окном
Трепещет и кипит

(К вельможе).

Налицо у Батюшкова и противоположный ряд речений, столь привычный Пушкину: бесчувстенность — как остылость или холод. Он говорит: „Изнемогает жизнь в груди моей остылой“ (Из греч. антол. XII), как позднее Пушкин: „Не спрашивай, зачем душой остылой“, или „Во глубине души остылой“. У него читаем: „И то, чем ныне стал под холодом годов“ (Есть наслаждение), как у Пушкина: „Под хладом старости“... И он не раз употребляет выражение: „хладные сердца“ (напр. Мечта, Н. И. Гнедичу 1808 г.), обычное у Пушкина; и он говорит: „над хладною могилой“ (Из Мелеагра), как Пушкин: „Схожу я в хладную могилу“.

У Батюшкова находим и другие два ряда Пушкинских речений того же термического порядка: те, что представляют

чувство, как жидкость, и те, что изображают душу или отдельные душевные состояния, как газообразное. Он говорит:

Мы пили чашу сладострастья

(К другу),

или:

Пей из чаши полной радость

(Отрывок из элегии),

как позже Пушкин:

Я хладно пил из чаши сладострастья

(Позволь душе моей),

или:

И чашу пьет отрады безмятежной

(Гавриилиада);

он говорит:

Все в неистовой прельщает,
В сердце льет огонь и яд

(Вакханка),

как Пушкин:

Играть душой моей покорной,
В нее вливать огонь и яд

(Как наше сердце своенравно)

Он говорит:

И все душа за призраком летела

(Тень друга),

или:

В мир лучший духом возлетаю

(К другу),

как позже Пушкин:

К тебе я сердцем улетаю

(Русл. и Людм. V, черн.),

или:

Душа к возвышенной душе твоей летела

(К Жуковскому).

У Батюшкова:

Воспоминания, лишь вами окрыленный,
К ней мыслию лечу

(Воспом. 1807 г.),

у Пушкина:

Я к вам лечу воспоминаньем

(Горишь ли ты);

у Батюшкова:

светлый ум,
Летая в поднебесной

(Мои пенаты).

У Пушкина то же много раз: „Ум далече улетает", „Ум улетал за край земной" и т. п. Мало того, даже наиболее смелые речения этого рода, встречающиеся у Пушкина, нередко имеют прообраз у Батюшкова. Так, у Батюшкова:

Я Лилы пью дыханье
На пламенных устах,
Как роз благоуханье,
Как нектар на пирах

(Мои пенаты), —

у Пушкина:

И девы-розы пьем дыханье,
Быть может полное чумы;

и Пушкинское употребление глагола „дышать": „Гирей, изменою дыша", „Теперь дыши его любовью", „Мы в беспрерывном упоенье дышали счастьем", „Еще поныне дышит нега в пустых покоях и садах" и т. п., встречаем уже у Батюшкова:

Одной любви послушен,
Он дышит только ей

(Ответ А. И. Тургеневу);

Ты дружбою велик, ты ей дышал одною

(Дружество);

Все здесь, друзья, изменой дышит

(Разлука);

В места, где дышит все любви очарованьем

(Мечта).

Наконец, у Батюшкова находим и многие отдельные речения Пушкина, относящиеся к тому же кругу идей, как напр., „печали бремя", уподобление речи (поэзии) — жидкости, напр.:

И песни, веселию
Приятнее Нектара
И слаще амврозии,
Что пьют небожители...
Польются со струн ее

(Радость),

как у Пушкина многократно: „Мои стихи... текут, ручьи любви", или сравнение поэзии Языкова с брагой: „Она не хладной льется влагой... Она разымчива, пьяна" и т. д., или определение знания, как света, напр., у Батюшкова:

Несносной правды вижу свет

(Элегия, из Парни, 1805 г.),

у Пушкина:

Уж хладной истины докучный вижу свет

(А. А. Шишкову).

Пора подвести итог. — Приведенные здесь сопоставления, кажется, неопровержимо доказывают, что Пушкин нашел у своего ближайшего предшественника, с произведениями которого он был от юности хорошо знаком, все основные речения своей своеобразной психологической терминологии. Вычеканил ли их Батюшков сам из материала народного языка, или частью взял уже готовыми из предшествовавшей ему поэзии, это для нас здесь безразлично; во всяком случае, Пушкин нашел у него богатый подбор их и полностью усвоил их себе.

Но этому факту противостоит другой, столь же несомненный. Исследование, произведенное мною в „Гольфстреме", обнаружило в поэзии Пушкина полную и подробно разработанную систему психологических воззрений, основанную на представлении о термической природе души. Что здесь перед нами действительно система, органическое выражение личности в своеобразном цикле идей, — в этом нас убеждают единство

и непрерывная последовательность Пушкинской терминологии, ее глубокая подсознательная продуманность, ее обилие и находчивость, ее удивительное многообразие. У Батюшкова такой системы явно нет; в его поэзии — лишь многочисленные зародыши ее, воспринятые из языка и оформленные, как бы отдельные камни, отесанные поэтом. В „Гольфстреме" показано, что термодинамическая психология присуща всему человечеству и воплощена во всех языках, между прочим и в русском; очевидно, Батюшков нащупал ее в языке и оценил и частью вынул из языка и оформил ее материал для поэтического употребления. Но у него нет ни строгой последовательности Пушкина, ни его точности в применении этой терминологии. Лишь изредка встречаются у него те двойные, контрастные речения, столь частые у Пушкина, которые обнаруживают сознательность словоупотребления; таковы, напр., стихи:

Вдохни *огонь* любви в *холодные* слова

(Послание к гр. М. Ю. Велеурскому),

И гордый ум не победит
Любви — холодными словами

(Пробуждение),

...стихами
Горесть сердца *услаждал*

(К Н. И. Гнедичу, 1807 г.) [1]).

Несравненно чаще он предает термин, впадая в формализм или отвлеченность. Пушкин не мог сказать:

Когда *струей небесных благ*
Я утолю любви желанье

(Надежда),

или:

И в осень дней твоих не погасает пламень,
Текущий с жизнию в крови

(К престарелой красавице),

или:

Любовь еще *горит во пламенных местах*

(Мечта),

---

[1]) Сравн. у Пушкина «Гольфстрем», стр. 28 — 29 и passim.

как не мог бы Пушкин сказать:

Мне готова
Цепь, сотканна из сует

(К И. А. Петину),

или:

Счастлив, счастлив, кто цветами
Дни любови украшал

(там же),

или:

Прерву теперь молчанья узы
Для друга сердца моего

(Н. И. Гнедичу, 1808 г.),

или:

Мечты, повсюду вы меня сопровождали
И мрачной жизни путь цветами устилали

(Воспом., 1807 г.);

все это цветы бумажные и цепи отвлеченные; Пушкин никогда не употребляет конкретных слов в переносном смысле. Все это с несомненностью свидетельствует об одном: Пушкин безошибочно подбирал свои слова из единого, незыблемого внутреннего образа — идеи, у Батюшкова же такой незыблемой внутренней точки не было, а было лишь некоторое смутное пятно, и потому конкретное слово сплошь и рядом соскальзывало в отвлеченность или пустоту. По верному чутью он сумел разглядеть и поднял с улицы и огранил немало камней, но не узнал в них зиждительной воли; в стройное здание по образу своего духа сложил их уже Пушкин: вот мера — и граница его оригинальности.

То, что я сказал до сих пор, касается одного гнезда Пушкинского мышления и словоупотребления — его термодинамической психологии. Совершенно тот же результат мы получим при исследовании других подобных гнезд. Остановлюсь еще на двух. В статье „Явь и сон" [1]) я разобрал многочисленные заявления Пушкина, рисующие противоположность между дневным, бодрственным состоянием души — и ее самопогруженностью, которую Пушкин определяет, как

[1]) В восьмом томе Харьковских «Вопросов теории и психологии творчества», 1923 г.

„забвение“ или „сон души“. Оказывается, что термин „забвение“, именно в этом необычном смысле, употреблял уже Батюшков, притом с тем же знаком превосходства; уже он говорит: „в сладостном забвенье“ (Мечта), как Пушкин многократно: „В забвенье сладком ловит он“, „В забвенье сладком близ друзей“ и т. п. Он говорит:

Но ветров шум и моря колыханье
На вежды томное забвенье навели

(Тень друга);

Счастья шаткого любимец
С нимфами забвенье пьет

(Счастливец),

О сладострастие, себя, всего забвенье

(Мщение),

как Пушкин: „День восторгов, день забвенья“, „Там бессмертье, там забвенье“, „Забвенье жизни в бурях света“ и т. д. Но дальше Батюшков не идет: он только констатирует данное состояние и односложно оценивает его. У Пушкина здесь опять глубоко-обдуманная и детально-разработанная, последовательно проводимая на протяжении многих лет, в нем самом из личного опыта расцветшая мысль о самозаконной, адэкватной жизни духа в противоположность его рабским состояниям на яву.

Третье гнездо — мысль Пушкина о загробной жизни[1]). Термин „тень“, неизменно употребляемый Пушкиным для обозначения личности после смерти, опять таки именно в этом необычном смысле часто встречается у Батюшкова. Может показаться даже, что Пушкин перенял у него свою веру в загробное переживание. Их язык иногда сходен до тождественности; Батюшков пишет:

И надо мною тень Лауры пролетает

(Вечер),

Пушкин:

...и верно надо мной
Младая тень уже летала.

У Батюшкова, несомненно, заимствовал Пушкин и слово „ничтожество“ в смысле полного уничтожения в смерти: „В обители

[1]) См. мою статью «Тень Пушкина» в сборнике «Искусство». Журн. Академии Худож. Наук. Москва. 1923.

ничтожества унылой“ (Из Мелеагра). В стихотворении Батюшкова „Привидение“, 1810 года, есть такие строки:

... Но из могилы,
Если можно воскресать,
Я не стану, друг мой милый,
Как мертвец, тебя пугать.
В час полуночных явлений
Я не стану в виде тени
То внезапно, то тишком
С воплем в твой являться дом.

Очень возможно, что этими строками навеяны следующие два образа у Пушкина: во первых, „К молодой вдове“, 1816 года, где поэт успокаивает молодую вдову во время любовного свидания:

Верь мне: узников могилы
Беспробуден хладный сон...
Нет, разгневанный ревнивец
Не придет из вечной тьмы!
Тихой ночью гром не грянет
И завистливая тень
Близ любовника не станет,
Вызывая спящий день;

и в другой раз, о Ленском, в черновой рукописи 7 песни „Онегина“:

...из могилы
Не вышла в сей печальный день
Его ревнующая тень,
И в поздний час, Гимену милый,
Не испугали молодых
Следы явлений гробовых.

Нет сомнения, и здесь Пушкин нашел у Батюшкова некоторые опорные точки. Но у Батюшкова нет никакой *своей* мысли о загробной жизни, если не считать за таковую голое утверждение:

...Но, ах!
Мертвые не воскресают!

(Привидение).

Картины загробной жизни, которые он не раз рисует („Отрывок из элегии“, „Мои пенаты“, „Элегия из Тибулла“, „Мечта“ и др.), — шаблон французской поэзии XVIII века, всегда легкая поэтическая игра, никогда не дело. Даже там, где он, единственный раз, хотел серьезно обработать такой сюжет, где он изображает, как Пушкин, явление тени живому, —

в стихотворении „Тень друга", — он сразу и заранее снимает с явления всю конкретность словами: „То был ли сон!"... („И вдруг... То был ли сон!.. Предстал товарищ мне"...). У Пушкина выстраданная, глубокая мысль о загробной жизни, и там, где он рисует тень, — ни с чем несравнимая категоричность.

„При сгущении раствора он сначала делается пересыщенным и иногда может очень долгое время сохраняться в таком виде, особенно если приложить заботу к сохранению его в спокойном состоянии и к чистоте окружающего воздуха"; такова поэзия Батюшкова. „Прикосновение ничтожных следов того твердого вещества, которое может выпасть из раствора, вызывает энергичный процесс такого выпадения в виде кристаллов"; такая кристаллизация — поэзия Пушкина.

Чаадаев и Пушкин

Когда они впервые встретились у Карамзина в Царском Селе, Чаадаеву было года 22, Пушкину — 17: он еще учился в Лицее. Дружба их началась несколько позже, по окончании Пушкиным Лицея, и оборвалась с его высылкой из Петербурга в 1820 г. Оба были, значит, еще очень молоды; но в то время в образованном дворянском кругу юноши созревали рано.

Легко представить себе, как с шумом и хохотом, сверкая белыми зубами, врывается в кабинет Чаадаева смуглый, курчавый, невысокий, быстрый в движениях юноша — Пушкин. Он, может быть, кутил до утра, но у него крепкие нервы, и очень вероятно, что, проснувшись поздно, он еще час — другой, полулежа в постели, писал свою поэму о Руслане, потом оделся небрежно-щегольски, вышел на Невский, прошелся и решил зайти к Чаадаеву. Он всегда ходит к Чаадаеву, тот у него не бывает. Они — закадычные друзья. И как странно! Между ними, казалось бы, не должно быть ничего общего. Чаадаев — аристократ, блестящий гвардейский офицер, и вместе с тем, ученый и мыслитель. Ему всего 24 года, но он уже занимает прекрасное положение в свете: он с успехом проделал французскую кампанию и теперь состоит адъютантом при командире гвардейского корпуса, князе Васильчикове; он хорош собой, его знает двор, он свой человек в аристократических гостиных Петербурга. Он богат и независим; его спокойная уверенность в обращении с людьми — вероятно, предмет страстной зависти для Пушкина; он импонирует сдержанной любезностью — вот в чем его сила. Его кабинет — сочетание элегантности и учености. Чаадаев — домосед и аккуратен до щепетильности; если хорошенько присмотреться, на обстановке, как и на самом хозяине, лежит отпечаток педантизма, и Пушкин здесь точно олицетворение буйной

шалости и беспорядка. Что свело этих двух несходных молодых людей? — Но это будущий величайший поэт России и ее сильнейший философский ум. У обоих — острая потребность интеллектуального, и так как каждый из них по своему неистощимо своеобразен, то во взаимном общении оба находят наслаждение; вот почему и память об этой дружбе осталась столь яркой для обоих. Один широко образован и умом свободно господствует над своими знаниями, другой чуток, быстр в понимании и гениально-прозорлив: это ли не чудесная пара для дружбы и особенно для бесед!

Мы можем до некоторой степени восстановить содержание этих бесед. В одной позднейшей неоконченной повести Пушкина, где действие происходит в 1825 году, гвардейский офицер пишет своему другу в ответ на его назидательные советы: „Твои умозрительныя и важныя разсуждения принадлежат к 1818 году. В то время строгость правил и политическая экономия были в моде. Мы являлись на балы, не снимая шпаг: нам неприлично было танцовать и некогда заниматься дамами“. По образованности и широте взгляда Чаадаев, конечно, превосходил большинство своих сверстников; но в общем он делил их интересы; и для него на первом плане стояли тогда строгое отношение к себе и желание свободы для России. То и другое соединялось в сознании своего общественного долга. Когда Пушкин в самом разгаре этой дружбы захотел одной чертой определить Чаадаева, ему пришлось сказать: „Он в Риме был бы Брут, в Афинах Периклес“; значит, в его глазах Чаадаева всего больше отличали свободолюбие и широкий государственный взгляд. Это указывает также на преобладающий предмет их разговоров. Чаадаев, без сомнения, „развивал“ своего молодого друга; так, мы узнаем об их совместных чтениях; позднее Пушкин вспоминал: „Как я с Кавериным гулял... с моим Чаадаевым читал“, и в послании к Чаадаеву: „Посмотрим, перечтем...“ и „Знакомых мертвецов живые разговоры“. Главными темами этих бесед и чтений были политическая жизнь народов в прошлом и будущем, уроки исторического опыта и грядущие судьбы человечества вообще и России в частности; характеризуя эти беседы, Пушкин употребляет слова: „пророческие споры“ и „вольнолюбивые надежды“. Самым жгучим интересом являлось, конечно, порабощение России; только об этом и говорит единственное обращение к Чаадаеву, написанное Пушкиным за два года дружбы; очевидно, он сознавал, что в этом чувстве они сливаются всего полнее. Я не буду приводить этих известных стихов: укажу только, на какую почву здесь поставлено стремление к свободе:

Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы.

Это — идея нравственного долга перед самим собой и перед родиной: таков был характер этих бесед.

Как это всегда бывает, непосредственно Пушкин сознавал только их конкретное содержание; но в другом свете представились они ему два года спустя, в Кишиневе, когда, вместе с угаром петербургской жизни, рассеялось и навеянное на него средою острое политическое настроение. Здесь, в уединении, „для сердца новую вкушая тишину", он углубился в себя и дал себе отчет в своем прошлом. И тут то он сумел по настоящему оценить и свою дружбу с Чаадаевым. Что ему кажется теперь в ней наиболее ценным, это уже не те уроки политической мудрости и вольнодумства, которыми он тогда упивался, а нечто другое, чего он тогда не умел ценить и почти не замечал: та нравственная атмосфера, которою он дышал, входя к Чаадаеву. Он говорит Чаадаеву:

Ты был целителем моих душевных сил;
О, неизменный друг, тебе я посвятил
И краткий век, уже испытанный судьбою,
И чувства, может быть, спасенные тобою!
Ты сердце знал мое во цвете юных дней;
Ты видел, как потом в волнении страстей
Я тайно изнывал, страдалец утомленный;
В минуту гибели над бездной потаенной
Ты поддержал меня недремлющей рукой;
Ты другу заменил надежду и покой;
Во глубину души вникая строгим взором,
Ты оживлял ее советом иль укором;
Твой жар воспламенял к высокому любовь;
Терпенье смелое во мне рождалось вновь;
Уж голос клеветы не мог меня обидеть:
Умел я презирать, умея ненавидеть.

Здесь не нужно искать намеков на дружеские услуги со стороны Чаадаева, и „потаенная бездна", конечно, меньше всего означает, как это часто утверждали, грозившую Пушкину ссылку в Соловецкий монастырь: здесь речь идет исключительно о внутренних падениях Пушкина и о высокой настроенности духа, о нравственной свободе, которым он учился у Чаадаева. Напротив, эта „потаенная бездна" как раз свидетельствует о каком то тяжелом нравственном кризисе, пережитом Пушкиным между 1818 и 1820 г.г.

И, наконец, напомню строки, так хорошо дорисовывающие и портрет Чаадаева, и картину этой дружбы:

Когда соединим *слова любви и руки.*
Когда услышу я *сердечный твой привет.*
Как обниму тебя. Увижу кабинет,
Где ты всегда мудрец, а иногда мечтатель
И ветрянной толпы бесстрастный наблюдатель;
Приду, приду я вновь, мой милый домосед
и т. д.

В любой биографии Пушкина можно найти рассказ о том, как Чаадаев в 1818 г. чрез Васильчикова представил Александру I «Деревню» Пушкина, и другой рассказ — о ссылке Пушкина на юг, когда Чаадаев через Карамзина добился смягчения кары, ожидавшей молодого поэта: две элементарные услуги, какие мог оказать Пушкину каждый из его знакомых.

С этой ссылки пути обоих друзей далеко расходятся, и не только потому, что Пушкин оказался вдруг выбитым из прежней колеи: жизнь Чаадаева вскоре изменилась не менее круто. В конце 1820 г. он подал в отставку и бросил Петербург; в 1823 г. он уехал заграницу и, прожив там три года, вернулся в Москву чуть ли не в один день с Пушкиным — в начале сентября 1826 г., но вернулся совершенно другим человеком, и в ближайшее время, до 1829 г., едва ли даже поддерживал сношения с Пушкиным.

Он пережил за эти годы тяжелый душевный перелом. Подобно Заратустре, и он надолго ушел в пустыню, и жил там один лицом к лицу со своим грозным богом, пока не познал его и не покорился ему; когда он снова вышел к людям, он нес им скрижаль завета.

В 1829 году внутренняя борьба была кончена, и Чаадаева снова потянуло к людям из мрачного одиночества, в котором он прожил почти четыре года; в то же самое время он начал излагать свое учение в форме философских писем. Пушкин, живший тогда в Москве, был одним из первых, кому он дал для прочтения свое первое, знаменитое впоследствии, письмо.

За десять лет, что они прожили врозь, Пушкин много выстрадал как человек и пышно расцвел как поэтический гений, но он остался в той же плоскости: ничто не нарушило удивительную природную цельность его духа; напротив — она только полнее раскрылась. Чаадаев в то время вовсе не жил; когда, в конце 20-х годов, он проходил по улицам Москвы, мрачный, изможденный, низко надвинув шляпу, чтобы не быть узнанным, — о нем можно было сказать, что говорили о Данте равеннские мальчики: „Вот человек, побывавший в преисподней". Глубокой душевный раскол кинул его в одну из тех бездонных, неисследимых крайностей, в какие впадают только люди великого духа и откуда они выносят наверх новые

аспекты вечной истины. Это было, как известно, мистическое истолкование мира. Для Чаадаева теперь больше не существовало ни случайности, ни противоречий, ни непонятного разнообразия явлений, — и в то время, как наивно-верующий ощущает стройность и осмысленность бытия только в идее Верховного Разума, Чаадаев сознавал ее в самом процессе, видел воочию последовательное строение царствия божьего на земле. В его глазах вся мировая жизнь — один цельный механизм претворения плотского в духовное и личного в безличное имманентной миру божественной силой, и вся история человечества — не что иное, как последовательный ход этого процесса, конечной целью которого является слияние мира с богом. И так всецело была воспринята его духом эта система, так глубоко им продумана, что ему было естественно приурочивать к общему мировому делу частное историческое явление нынешнего дня, например, революцию 1830 года или поэзию Гейне.

Как отнесся Пушкин на первых порах к учению Чаадаева, мы не знаем. До нас дошло его письмо к Чаадаеву от 1831 г. о третьем «Философическом письме»: он был изумлен силою и красотою слога, широтою и грандиозностью картин, но он ничего не говорит о существе дела, называя взгляд Чаадаева на историю совершенно новым для себя и ограничиваясь частными возражениями. Напротив, само собою понятно, как должен был теперь Чаадаев смотреть на поэтическую деятельность Пушкина. Если он не находил достаточно сильных слов, чтобы заклеймить поэмы Гомера, как соблазнительный апофеоз плоти, то тем более должна была ужасать и печалить его чувственная поэзия его друга. Он умел в полной мере ценить и силу чувства, и художественное дарование Пушкина. Повидимому, его временами занимала мысль — как хорошо было бы ему, владеющему идеей истины, соединиться с Пушкиным, великим русским поэтом, чтобы общими силами двинуть Россию вперед. До нас дошла одна его записка к Пушкину, писанная, вероятно, в 1829 году. Это призыв и укор, где истина пытается увлечь на свой путь красоту, не догадываясь, что красота — и сама истина, но укор, полный любви, и призыв, трогательный как молитва.

„Самое пламенное мое желание, мой друг, — пишет Чаадаев, — видеть вас посвященным в тайну времен. Нет более прискорбного зрелища в нравственном мире, как гениальный человек, не постигший своего века и своего призвания. Когда видишь, что тот, кто должен был бы властвовать над умами, сам подчиняется власти привычек и рутине толпы, тогда чувствуешь себя сам задержанным в своем движении; тогда гово-

ришь себе: зачем этот человек, который должен бы вести меня, мешает мне итти вперед? Именно это я испытываю каждый раз, когда думаю о вас, и я думаю об этом так часто, что это меня совершенно удручает. Не мешайте же мне итти, прошу вас. Если у вас не хватает терпения ознакомиться с тем, что совершается в мире, уйдите в себя и из собственных недр вынесите тот свет, который неизбежно есть во всякой душе, подобной вашей. Я убежден, что вы могли бы сделать безмерное благо этой бедной России, заблудившейся на земле. Не обманывайте своей судьбы, мой друг. Последнее время по-русски читают всюду; вы знаете, что Булгарина перевели и поставили рядом с Жуи; что же касается вас, то нет нумера журнала, где бы о вас не было речи. Я нашел имя моего друга Гульянова упомянутым с почтением в толстой книге, а знаменитый Клапрот в знак признания подарил ему египетскую корону; можно сказать, он потряс пирамиды на их основах. Видите, как много славы вы можете себе добыть. К и н ь т е к р и к к н е б у — оно вам ответит".

„Я говорю вам все это, как видите, по поводу книги, которую посылаю вам. Так как в ней говорится понемногу обо всем, то она, может быть, пробудит в вас несколько добрых мыслей. Простите, мой друг. Я говорю вам, как Магомет арабам, — о, если бы вы знали!"

Чаадаев возвращался к этому потом еще не раз. В 1831 году он писал Пушкину: „Несчастие, друг мой, что не пришлось нам с вами теснее сойтись в жизни. Я попрежнему стою на том, что мы с вами должны были итти вместе и что из этого вышло бы что нибудь полезное и для самих нас, и для ближнего". Я приведу здесь одно из немногих уцелевших писем Чаадаева к Пушкину, писанное в сентябре 1831 г., т. е. когда Чаадаев уже вернулся в московское общество, стал бывать в английском клубе и принимать у себя друзей; оно лучше познакомит читателя с Чаадаевым второго периода и с его отношением к Пушкину, чем мы могли бы это сделать на многих страницах. Для ясности надо сказать, что „переворот", о котором идет речь в письме, — июльская революция и последовавший за нею, как раз летом этого 1831 года, бурный антиклерикальный взрыв во Франции, когда народ жег церкви, рубил кресты и пр. Эта революция ужаснула Чаадаева. Он видел в ней буйный разгул материальных сил, катастрофу, способную надолго задержать ход всемирного религиозного процесса.

„Ну, мой друг [1]), что же вы сделали с моей рукописью, уж не пристала ли к ней холера? Говорят, впрочем, у вас

[1]) «Русский Архив» 1831 г., т. 1, стр. 431—438. Подлинник по-французски.

холера не показывалась. Разве не сбежала ли рукопись как-нибудь? В таком случае, пожалуйста, дайте знать. У меня было большое удовольствие увидеть опять ваш почерк. Он мне напомнил то прежнее время, в котором, сказать правду, было немного хорошего, но когда еще жива была надежда, когда еще не наступала пора великих разочарований. Понимаете, я говорю о себе; но и вам, думается, было лучше, когда еще не до дна исчерпалась действительность. Друг мой, ваша действительность была светла и блестяща; но существует ли такая действительность, которая могла бы сравняться с обманчивыми ожиданиями и предчувствиями, лживыми призраками блаженного возраста неведения?

„Вам, говорили вы, хотелось бы побеседовать; давайте беседовать. Но берегитесь: я, вы знаете, не из веселых, а вы — человек нервный. Ну те, о чем мы станем беседовать? У меня одна идея, вы это знаете. Если бы, по какой нибудь случайности, и оказались в моем мозгу еще какие нибудь другие мысли, то они не замедлили бы приклеиться все к той же одной идее; глядите, будет ли это вам удобно? Если бы вы еще возбудили во мне какие нибудь мысли от вашего мира, если бы вы вызвали меня! Но вам угодно, чтобы я заговорил первый, быть так; но еще раз, право, берегите нервы!

„Вот что я вам собираюсь сказать. Приметили ли вы, что в недрах нравственного мира совершается нечто чрезвычайное, подобное тому, что, говорят, происходит в недрах физического мира? Скажите же, как это на вас действует? По моему, в этом великом перевороте — поэзия природы; а вы не можете оставаться к нему равнодушным, уже потому, мне кажется, что в этом представляется обильная пища для эгоизма поэта. Есть ли возможность не чувствовать себя задетым в своих самых сокровенных чувствах, когда задеваются все основы человеческой природы! На днях мне случилось видеть письмо вашего приятеля, великого поэта [1]): это беззаботная веселость, наводящая ужас. Скажите на милость, каким это образом человек, который в былое время печалился по всякому поводу, не находит в себе ни малейшей скорби теперь, когда валится целый мир?! Ибо, поглядите, друг мой, разве же это не погибель мира? Разве тот, кто неспособен предчувствовать иной, новый мир, имеющий возникнуть на месте прежнего, может видеть во всем этом что нибудь, как не одно ужасное разрушение?! Неужели и у вас тоже не найдется по этому поводу ни одной мысли, ни одного чувства? Я уверен, что

---

[1]) Жуковского.

мысль эта, это чувство, они есть у вас, только запрятанные глубоко, неведомо для самих вас, в каком нибудь затаенном уголке вашей души; пробиться на свет божий им нельзя — они затеряны под грудой старых понятий, привычек и условностей, из каких, что ни говорите, неизбежно слит всякий поэт, что он ни делай; ибо, друг мой, со дней индуса Вальмики, певца Рамайяны, и греческого Орфея, до шотландца Байрона, все до одного поэты обречены до сего дня пересказывать вечно одно и то же, в каком бы уголке вселенной ни раздавалась их песнь.

„О, как бы хотелось мне разом вызвать наружу всю мощь вашего поэтического дарования! Как бы хотелось мне теперь же добыть из ее глубины все, что, я знаю, таится в ней, дабы и вы дали нам услышать один из тех гимнов, которых жаждет век наш! О, тогда как поразились бы вы мгновенно всем, что теперь проходит перед вами, не оставляя ни малейшего следа в вашем духе! Как преобразилось бы тогда все пред вашим взором!

„А покамест давайте все таки побеседуем. Недавно, всего какой нибудь год тому назад, мир жил себе с чувством спокойной уверенности в своем настоящем и будущем, мирно припоминая свое прошедшее и поучаясь им. Дух возрождался в спокойствии, память человеческая обновлялась, мнения примирялись, стихала страсть, раздражения не находили себе пищи, честолюбие получало удовлетворение в прекрасных трудах, все потребности человека мало по малу сводились в пределы умственной сферы, все интересы были готовы сойтись на едином интересе всеобщего прогресса разума. Для меня это было—вера, доверчивость бесконечная! В этом счастливом мире мира, в этом будущем я обретал и мой собственный мир, видел мое собственное будущее. И случилась вдруг глупость одного человека, одного из тех людей, которые, неведомо для них самих, бывают призваны управлять человеческими делами, — и вот: спокойствие, мир, будущее, все вдруг разлетелось прахом. Подумайте хорошенько: все это произведено не одним из великих событий, сокрушающих царства и народы; нет, дурость одного человека! Вам в том вихре, в котором вы вращаетесь, нельзя было почувствовать этого так, как почувствовал я: это понятно. Но может ли быть, чтобы это изумительное приключение, которому еще не бывало подобных, всецело отмеченное перстом промысла, представлялось вам лишь обыденной прозой, или много много дидактической поэмой, в роде какого нибудь Лиссабонского землетрясения, для вас ни к чему непригодной.

„Быть этого не может! Нет, у меня, я чувствую, слезы навертываются, когда погляжу на это великое бедствие старого,

моего старого общества. Это всеобщее горе, обрушившееся столь внезапно на мою Европу, усугубило мое личное горе. А, между тем, да, так! Из всего этого имеет выйти одно только благо; я глубоко убежден в этом и имею утешение видеть, что не один я не теряю надежды на образумление разума. Но как и когда это совершится. Одним ли сильным умом, нарочно посланным на сие провидением, или рядом событий, которые оно вызовет для просвещения человечества? Не ведаю. Но какое то смутное чутье говорит мне, что скоро имеет явиться человек поведать нам истину, потребную времени. Кто знает, быть может это будет, во-первых, нечто в роде той политической религии, что Сен-Симон теперь проповедует в Париже; либо католицизм нового рода, каким некоторые дерзновенные священники хотят заменять католицизм, созданный и освященный веками. Отчего и не так? Какое дело, тем ли, иным ли способом будет дан первый толчок тому движению, которое долженствует завершить судьбы человечества! Многое предшествовавшее тому великому моменту, в который божественный посланник некогда возвестил миру благую весть, было предназначено приготовить мир; многому подобному суждено, без сомнения, совершиться и в наши дни, прежде чем и нам будет принесено новое благовестие с небес. Будем ждать".

В последних строках письма Чаадаев выражает надежду найти отклик в душе поэта. „От вас будет зависеть заставить меня взяться за перо опять; немножко сочувствия в вашем будущем письме! Г. Нащокин сказывает, что вы страшно ленивы; поройтесь ка немножко у себя в голове, и особенно в сердце, которое умеет биться так горячо, когда захочет: вы отыщете в нем больше материалов, чем нужно нам на все остальные годы наши. Прощайте, старый и добрый друг. А рукопись то моя? Чуть было и не позабыл. Пожалуйста, вы то не позабудьте".

В 1836 г., когда в «Телескопе» было напечатано знаменитое «Философическое письмо», Чаадаев послал один оттиск Пушкину, и Пушкин отозвался обширным, внимательно обдуманным письмом, которое дошло до нас в двух черновиках; оно осталось непосланным, как думают, потому, что Пушкин до отсылки его узнал о буре, вызванной чаадаевским письмом в официальных сферах. Письмо Пушкина носит явные следы осторожности и умолчаний на тот конец, если бы оно попало в ненадлежащие руки. Во всяком случае, оно чрезвычайно замечательно. Основную идею Чаадаева, его философию истории, Пушкин опять обходит молчанием.

Скорее можно думать, что он принимает ее, — по крайней мере, в своих возражениях он от нее исходит. Его замечания касаются исключительно прикладной стороны чаадаевской теории — его взгляда на Россию; они настолько последовательны, что в главном Чаадаев и сам уже несколько раньше додумался до них, и так полны ума и чувства, как мог писать тогда о России, кроме Чаадаева, один Пушкин.

В самый год смерти Пушкина Чаадаев, высочайше объявленный за свое «Философическое письмо» сумасшедшим, начал писать «Апологию сумасшедшего», и здесь, смягчая свой прежний безнадежный отзыв о России, он сказал: „Наконец, может быть преувеличением было опечалиться на минуту о судьбе народа, из недр которого вышли могучая натура Петра Великого, всеобъемлющий ум Ломоносова и грациозный гений Пушкина". В 1837 году так оценить национальное значение Пушкина умели, конечно, немногие.

Чаадаев пережил Пушкина почти на двадцать лет. Он гордился дружбою поэта и старался, чтобы и другие не забывали о ней. Уж он не преминет, поглаживая свой голый череп, обстоятельно рассказать новому знакомому историю этой дружбы и услуги, оказанной им Пушкину, когда он „спас" его от Соловков; еще незадолго до смерти, когда П. И. Бартенев начал печатать в «Московских Ведомостях» материалы для биографии Пушкина, он был крайне уязвлен умолчанием в них о себе и нажаловался на молодого автора Шевыреву до нельзя обиженным письмом. Но правда требует сказать, что Пушкин действительно любил его, как немногих. Узнав об отъезде Чаадаева за границу, он порадовался за него, но эгоистически огорчился: „Любимая моя надежда была с ним путешествовать. Теперь бог знает, когда свидимся". Вскоре по приезде в Михайловское, в 1824 г., он вместе с перстнем, без которого ему „грустно", велит брату прислать себе и портрет Чаадаева. Друзья знают его слабость к Чаадаеву: когда Нащокин, недолюбливавший Чаадаева, хочет в письме к Пушкину (уже в 30-х годах) сделать о нем критическое замечание, он оговаривает: „Еще с позволения вашего скажу (ибо ты не любишь, чтобы я об нем говорил), рука на сердце, говорю правду, что он еще блуждает", и проч.

Проходя мимо церкви Вознесения у Никитских ворот в Москве, вы непременно каждый раз вспомните, что здесь

венчался Пушкин, — и что то милое, уютное, родное глянет на вас и с этого ветхого домика насупротив, и из крутого переулочка, откуда входят в церковь. Особенное очарование лежит для нас на всем, до чего в своей жизни дотронулся Пушкин. И потому, как ни значителен для нас Чаадаев сам по себе, как ни дорого нам его собственное наследие, дружба с Пушкиным что то еще прибавляет ему: одна из самых теплых черт его облика, несомненно, заключается в том, что его любил Пушкин.

Граф Нулин

Как Белинский семьдесят лет назад определил „химическое содержание“ этой поэмы и согласно своему определению поставил ее на полочку, так она и до сих пор красуется на той же полочке, выделяясь четкой наклейкой: „Грациозная шутка и первый опыт русского натурализма“. Действительно, анализ привел Белинского к такому заключению: «Граф Нулин» — не более, как легкий сатирический очерк одной стороны нашего общества, но очерк, сделанный рукою в высшей степени художественною... В этой повести все так и дышет русскою природою, серенькими красками русского деревенского быта. Здесь целый ряд картин в фламандском вкусе, — и ни одна из них не уступит в достоинстве любому из тех произведений фламандской живописи, которые так высоко ценятся знатоками. Что составляет главное достоинство фламандской школы, если не уменье представлять прозу действительности под поэтическим углом зрения? В этом смысле «Граф Нулин» есть целая галлерея превосходнейших картин фламандской школы“. В подтверждение этой мысли указывается, что „в лице графа Нулина поэт с неподражаемым мастерством изобразил одного из тех пустых людей высшего светского круга“, и т. д. — „Наталья Павловна — тип молодой помещицы новых времен“, и т. д., — горничная Натальи Павловны — „тип всех русских горничных“ такого то рода. И в заключение: „Говорить ли, что вся поэма, исполненная ума, остроумия, легкости, грации, тонкой иронии, благородного тона, знания действительности, написана стихами в высшей степени превосходными?“

Приговор Белинского тотчас вошел в силу и господствует доныне. В 4-м томе большого Академического издания Пушкина, помеченном 1916 годом, П. О. Морозов кончает свою прекрасную историко-литературную статью о «Графе Нулине» строками, целиком повторяющими суждение Белинского: „Нулин явился в нашей литературе первой ласточкой того

нового направления, которое впоследствии, в эпоху Мертвых душ, получило название „натуральной школы"... Сама по себе незначительная повесть Пушкина для своего времени была и большою смелостью, и своего рода литературным откровением. Пять лет спустя за нею последовали «Повести Белкина».

Белинский и не мог оценить поэму Пушкина иначе, нежели он это сделал; но чем можно извинить простодушие позднейших критиков, которым уже было известно то, чего не знал Белинский, — объяснение самого Пушкина о замысле его маленькой поэмы? Это объяснение напечатал еще Анненков в своих «Материалах для биографии Пушкина», — правда, не полностью, хотя перед ним был полный текст. Сам Анненков видел в этой записи только подтверждение установившейся уже мысли, что «Граф Нулин» — веселая шутка; он предпосылает строкам Пушкина такие слова: „Сказочка эта (т. е. «Граф Нулин»)... обязана происхождением забавной мысли, которую сам автор рассказывает на одном клочке бумажки" и т. д. — и, приведя запись Пушкина, замечает: „Так справедливо, что против шутки Пушкин не мог устоять". С тех пор все, кому случалось писать о «Графе Нулине», неизменно приводили и запись Пушкина, объясняя ее так же, как Анненков; в Венгеровском издании Пушкина один из комментаторов, сообщая, что «Граф Нулин», есть плод возрождавшейся о ту пору в Пушкине „жизнерадостности, принимавшей по временам бравурную, экзальтированную форму", плод „заразительного веселья", сообщает и запись поэта, говоря: „полна юмора уже заметка о происхождении этой поэмы". Но и полный текст ее, впервые сообщенный П. О. Морозовым в названной статье, не помешал ему же повторить суждение Белинского, основанное на недостаточном знании.

Вот запись Пушкина в приблизительно-точном списке.

„В конце 1825 года находился я в деревне. Однажды, перечитывая Лукрецию, довольно слабую поэму Шекспира, я повторил пошлое замечание о мелких причинах великих последствий. Я подумал: что еслиб Лукреции пришло в голову дать пощечину Тарквинию? Быть может, это охладило б его предприимчивость, и он со стыдом принужден был отступить? Лукреция б не зарезалась, Публикола не взбесился бы, Брут не изгнал царей (зачеркн. цари под покровом) и мир и история мира были бы не те. Итак, республикою, консулами, диктаторами, Катонами, Цесарем мы обязаны соблазнительному происшествию, подобному тому, которое случилось недавно

в моем соседстве, в Новоржевском уезде. — Мысль пародировать историю и Шекспира мне представилась, я не мог воспротивиться двойному искушению и в два утра написал эту повесть. Я имею привычку на моих бумагах выставлять год и число. Гр. Нулин писан 13 и 14 дек. Бывают странные сближения — “...

На этом слове запись обрывается.

Надо прибавить, что сообразно с этим замыслом Пушкин первоначально думал озаглавить свою поэму — «Новый Тарквиний»; это заглавие написано карандашом в черновой. Там же имеется и собственноручная дата — Михайловское, 13 декабря 1825. В самой поэме ее происхождение не обнаружено ничем, если не считать упоминания имен Лукреции и Тарквиния.

В надежде сладостных наград,
К Лукреции Тарквиний новый
Отправился на все готовый...

и вторично:

Она Тарквинию с размаха
Дает пощечину...

Что же говорит нам приведенная сейчас запись? Ее смысл ясен: задумывая свою поэму, Пушкин отнюдь не ставил себе целью — ни написать веселую шутку в стихах, ни нарисовать жанровую картину из русского помещичьего быта. «Граф Нулин» стал тем и другим по форме, и в этом Белинский и его последователи совершенно правы; Пушкин одел свою мысль в жанровую и шутливую одежду, мастерски сшитую, но ведь одежда, есть только одежда, прикрытие, и ничего больше. Лермонтов был великий поэт, и вместе офицер: что мы сказали бы о его военном начальстве, которое оценивало его вероятно только по его офицерским качествам? Не так ли, по внешности, судит и наша критика о «Графе Нулине» ?

Мысль Пушкина ясна из его записи. Вот происшествие: насилие Тарквиния над Лукрецией; это происшествие явилось причиною громадных исторических событий; что же: должны ли мы думать, что в самой сущности его были заложены и неизбежность, и самый характер этих всемирных последствий, как в малом зерне — весь будущий колос? Но ведь точно такие же зерна, как это попадаются нам всюду; стоит только нагнуться, чтобы подобрать такое зерно. Нет ничего легче, как взять одно из них и исследовать его, так сказать, химически, тогда будет ясно, присуща ли ему в самом деле творческая сила этого определенного порядка. Зерно-событие—

попытка постороннего мужчины овладеть замужней женщиной: Пушкин берет такое зерно и на глазах читателя разлагает его на составные части. Весь анализ он производит сравнительно: вот историческое зерно — Тарквиний — Лукреция, и вот экспериментальное зерно — граф Нулин — Наталья Павловна. До половины анализ обоих совпадает вполне: там и здесь — отлучка мужа, приезд сластолюбца, его беседа с женою, ее рукопожатие, его ночное возбуждение, наконец его преступная попытка. Но тут, в кульминационном пункте, тожество вдруг прерывается: Лукреция поддалась насилию, Наталья Павловна отражает насилие. Вследствие этого крошечного отклонения дальнейший ход происшествия дает в обоих случаях две далеко расходящиеся линии — там трагедию, сперва только личную, а в последствиях своих — и мировую, здесь — анекдот, разрешающийся смехом. Итак, не самое происшествие по существу, а только одна микроскопическая часть его послужила причиною исторических событий; и эта частность в нем — вовсе не органическая; она случайна; она была, но могла и не быть; ведь чистая случайность, что Лукреции „не пришло в голову" то, что „пришло в голову" пустенькой Наталье Павловне, — дать пощечину насильнику. Из этой то микроскопической случайности развился колоссальный ряд потрясений — изгнание царей из Рима, установление республики, и т. д.; она, такая ничтожная, своими последствиями перевернула мир, можно сказать даже — поколебала самое небо: именно это, повидимому, хотел сказать Пушкин в зачеркнутых словах: „Цари под покровом" — богов.

Итак, Пушкин экспериментальным путем выделил подлинное творческое ядро события — и оно оказалось еле заметной пылинкой, какими полна человеческая жизнь. Обыкновенная, ничтожная пылинка, оказалась заряженной динамитом; попав в ту среду: Рим, цари, Брут, — в среду очевидно благоприятную для взрыва, она вызвала местный и потом всеобщий взрыв. Не таков ли всеобщий закон человеческой жизни, личной и исторической? Вся она состоит из пылинок, — из происшествий, индивидуальных поступков и случайностей, и каждая пылинка по составу своему — динамит: все дело в том, попадет ли она в горючий материал, или не попадет. Вот эта к о л о с с а л ь н а я   в з р ы в ч а т а я   с у щ н о с т ь   к а ж д о г о   м а т е р и а л ь н о г о   а т о м а и поразила Пушкина в драме Лукреции; отсюда замысел его поэмы, — и мысль свою он облек в форму комического „фламандского" жанра, которую одну и видела критика. «Граф Нулин» — вовсе не шалость пера; недаром Пушкин несколько лет спустя, защищая эту свою поэму против упреков в скабрезности, свидетельствовал, что

она писана, „будь сказано мимоходом, самым трезвым и благопристойным образом".

Теперь уже положительно известно, что приведенная выше запись Пушкина писана не ранее 1829 года: он упоминает в ней о сходном происшествии, случившемся недавно в его соседстве в Новоржевском уезде; в дневнике А. Н. Вульфа, изданном в 1916 г., рассказано это происшествие, на которое намекает Пушкин: оно случилось в феврале 1829 г. с самим Вульфом, на глазах Пушкина (неудачное ночное путешествие Вульфа в комнату молоденькой поповны). А запись Пушкина состоит, как сразу видно, из двух частей: вся она занята изложением мыслей, предшествовавших в нем созданию поэмы; но последний абзац, о дне ее написания, должен был содержать размышление Пушкина, возникшее уже в позднейшее время. «Граф Нулин» был написан 13 и 14 декабря 1825 года. В этот последний день, как известно, произошел в Петербурге бунт декабристов. Известно, как думал Пушкин о своей судьбе в связи с казнью, постигшей декабристов; не раз воспроизводилась та страница его рукописи, где нарисована виселица с пятью повешенными и вплотную над нею начата фраза: „И я бы мог как шут на"... и пониже на странице опять: „И я бы мог", и внизу страницы снова та же виселица. И вот, с этой мыслью о гибели, возможной для него и случайно избегнутой, Пушкин однажды заметил, что в тот самый день, когда гибель могла его постигнуть, он писал «Нулина» — рассказ о пылинках, решающих участь людей и царств; и, быть может, он вспомнил о такой же пылинке, счастливо решившей его участь на этот раз, — о каком нибудь мелком происшествии, помешавшем ему стать участником декабрьского мятежа или даже только быть в тот день в Петербурге, — и его поразила мысль, что именно в тот роковой для него день он писал о роковой силе пылинок: вот на что намекает начатая им фраза: „Бывают странные сближения"... Он, может быть, думал: „Точно тайное предчувствие „грозы незримой", витавшей надо мной в тот день, водило моим пером, когда я писал «Нулина». Известно, что о том же своем спасении от декабрьской грозы он рассказал в стихотворении «Арион» именно как о чуде:

Лишь я, *таинственный* певец
На берег выброшен грозою...

словно сама стихия оберегла его, свое дитя. Не оберегла ли она его, как раз послав ему в должный час ту пылинку, то происшествие, — может быть зайца перебежавшего дорогу, — которое и спасло его от декабрьского разгрома?

Все эти мысли свои, внушившие ему план и вдохновение поэмы, Пушкин утаил от читателей. Так он поступал всегда, и совершенно сознательно. Замысел должен быть скрыт; он должен быть лишь, как ветер для судна, дающий направление судну и стремительностью своей напрягающий паруса. Этот постоянный прием являлся у Пушкина, прежде всего, неизбежным следствием его теории искусства, а затем — и умышленным изъявлением его презрения к публике. Как он сам однажды сказал:

Странным сном
Бывает сердце полно...
Тогда блажен, кто крепко словом правит
И держит мысль на привязи свою.

Он не только утаивал свой замысел, — он еще издевался над читателем, который ведь будет искать „мораль" и непременно найдет ее, носящую его собственный образ и подобие, и любил сам заранее подавать ее читателю именно такою. Так он закончил и «Нулина»:

Теперь мы можем справедливо
Сказать, что в наши времена
Супругу верная жена,
Друзья мои, совсем не диво.

Как весело он вероятно хохотал, прочитав в 1828 году, по выходе «Графа Нулина», отзыв Погодина о своей поэме! Погодин защищал ее от хулителей и поучал: „Строгие аристархи спрашивают о нравственной цели в этой пьесе. Вот она, если им того хочется (дальше курсив самого Погодина): нескромные желания людей худо награждаются". Спустя пять лет после «Нулина» Пушкин снабдил свой «Домик в Коломне» еще более саркастическим заключением — моралью о том, что кухарку даром нанимать опасно и что мужчине рисковано рядиться в женское платье, так как борода или ее бритье когда нибудь неминуемо выдадут его. „Вот вам философия, какая вам доступна и нужна;

Больше ничего
Не выжмешь из рассказа моего".

«Граф Нулин» был написан в Михайловском, по свидетельству самого Пушкина — „в два утра", 13-го и 14-го декабря 1825 года. Сохранились две собственноручные рукописи поэмы, одна — в архиве А. Ф. Онегина, другая — у гр. Шереметева,

обе беловые, но с многочисленными карандашными поправками; Онегинская содержит очень большое количество разночтений сравнительно с печатным текстом, несомненно предшествующих последнему; напротив, варианты Шереметевской немногочисленны и незначительны. Онегинская рукопись представляет собою тетрадку в 14 листков бумаги в осьмушку; на первой странице карандашом написано заглавие: «Новый Тарквиний»; тут же дата: 1825. Михайловское, и рисунок карандашом: скачущий всадник — очевидно, муж Натальи Павловны — с собакой впереди и в конце рукописи пометка: 1825 — дек. 13. Полный текст Онегинской рукописи и разночтения Шереметевской напечатаны П. О. Морозовым в IV-м томе большого Академического издания сочинений Пушкина. Первоначально Пушкин отдал в печать только первые 30 стихов «Нулина», кончая стихом: «Опустошительный набег», они появились под заглавием: «Отрывок из повести Граф Нулин», в четвертой книжке «Московского Вестника» за 1827 год, вышедшей в свет в средине февраля. 20 июля 1827 г. Пушкин представил «Нулина» вместе с несколькими другими своими произведениями, на разсмотрение А. Х. Бенкендорфа; 22 августа Бенкендорф известил его о разрешении его пьес для печати, при чем о «Нулине» писал „Графа Нулина государь император изволил прочесть с большим удовольствием и отметить своеручно два места, кои его величество желает видеть измененными, а именно следующие два стиха:

Порою с барином шалит
и
Коснуться хочет одеяла.

Впрочем прелестная пиеса сия позволяется напечатать". 27-го августа было выдано официальное удостоверение, что можно печатать с пометою: „с дозволения правительства". На основании этого разрешения «Граф Нулин» был полностью напечатан в «Северных Цветах» на 1828-й год (альманах, издававшийся Дельвигом) с заменою тех двух запрещенных стихов другими:

Порою барина смешит
и
Уже руки ее коснулся

причем эта последняя замена потребовала переделки целых четырех стихов; у Пушкина было написано:

Уже коснулся одеяла —
Но что же делает она?
Смятенья, ужаса полна,
и т. д.

он изменил эти стихи так:

Уже руки ее коснулся,
Но тут опомнилась она
Гнев благородный в ней проснулся,
И честной гордости полна,
и пр.

Из «Северных Цветов» был сделан и отдельный оттиск «Нулина» (может быть, только в небольшом количестве экземпляров — для автора), на выпуск которого 15-го ноября 1827 года было получено разрешение III-го Отделения. Затем в конце 1828 года, к Рождеству, вышла в Петербурге книжка, озаглавленная: «Две повести в стихах»; она содержала — на первом месте поэму Баратынского «Бал», на втором — «Графа Нулина»; наконец из этого издания были пущены в продажу по 2 р. 50 к. отдельные оттиски.

„Путешествие в Арзрум“

(1829 — 1830)

I

В 1829 году вышла в Москве очень хорошо отпечатанная книжка в 190 страниц малого формата под заглавием: «Записки во время поездки из Астрахани на Кавказ и в Грузию в 1827 году *Н... Н...*» За заглавным листом следовало посвящение „Ея Высокородию Варваре Петровне Всеволожской, урожденной княжне Хованской“, а из текста книжки явствует, что анонимный автор совершил свое путешествие в обществе этой самой Варвары Петровны и ее мужа Никиты Всеволодовича. Эта поездка Всеволожских и ее описание, составленное Н. Н., имеют некоторое значение для биографии Пушкина.

С Н. В. Всеволожским, своим сверстником (род. в 1799 г.), Пушкин издавна был в приятельских отношениях. Они подружились в 1818 или 1819 г., когда Всеволожский, основав веселое общество «Зеленой лампы», привлек в него и Пушкина. Богач и весельчак, камер-юнкер в 19 лет, страстный театрал, Всеволожский был центром Петербургской золотой молодежи. В известном послании к нему 1819 года Пушкин называет его: „счастливый сын пиров, балованный дитя свободы“, а позднее, с юга, не раз вспоминал в письмах веселые пирушки в доме Всеволожских, где рекой лилось шампанское и где ночи напролет шла азартная игра. Эта игра причинила Пушкину впоследствии не мало хлопот; именно, перед ссылкою он проиграл Всеволожскому в сумме тысячи рублей приготовленную к печати рукопись своих стихотворений, и потом целые годы старался через брата и других получить ее обратно, что удалось только в начале 1825 года. Всеволожский, дороживший рукописью, конечно, не как денежным залогом, отдал ее Льву Сергеевичу безвозмездно, и когда Пушкин все таки настаивал на уплате долга, соглашался принять только 500 руб. 14 марта 1825 г. Пушкин пишет брату: „Всеволожский со мной

шутит: я должен ему 1.000, а не 500; переговори с ним и благодари очень за рукопись. Он славный человек, хоть и женится". Всеволожский, женившись на княжне Хованской, в августе этого же года уехал на Кавказ, где у него были большие имения в Кавказском и Кизлярском уездах [1]). Ближайшие два года, до своего определения на службу в Тифлис, он жил повидимому то в своих южных поместьях, то в Петербурге или Москве.

И вот, из книжки Н. Н. мы узнаём, что в мае 1827 года Всеволожский со своей молоденькой женой предпринял поездку к минеральным водам и в Грузию. Для нас было бы любопытно узнать, откуда они пустились в путь. Н. Н. был житель Астрахани. Он рассказывает, что по уговору должен был встретиться с Всеволожским, для дальнейшего совместного следования, на Форпостинской станции, т. е. на другой стороне Волги против Астрахани; дождавшись их здесь, он вместе с ними поехал за 300 верст в имение Всеволожского, Черный Рынок, где они прожили две недели, с 21 мая по 4 июня. Здесь причт встретил их молебном, дворовые — хлебом-солью, крестьяне чествовали хороводами. Всеволожский осматривал вместе с Н. Н. свое обширное хозяйство — рыбные ловли, табачные и рисовые плантации, виноградники и пр. — как в самом Черном Рынке, так и в дальних своих селах и хуторах. Ясно, что он здесь не был, по крайней мере, с прошлого года; значит, свое путешествие он предпринял не отсюда, а вероятнее всего — с севера, из Москвы.

Е. Г. Вейденбаум первый указал, что намерение посетить Кавказ возникло у Пушкина еще в 1827 году [2]). 8 мая этого года Пушкин из Москвы пишет брату Льву, что завтра едет в Петербург повидаться с родителями, а оттуда поедет либо в Европу, либо назад в Михайловское, „но вероятнее в Грузию — не для твоих прекрасных глаз, а для Раевского". Что могло именно в это время навести его на мысль о поездке в Грузию? Это письмо к брату он посылал с М. И. Римской-Корсаковой, ехавшей на Кавказ с дочерью Сашей. „Письмо мое, — пишет он, — доставит тебе М. И. Корсакова, чрезвычайно милая представительница Москвы. Приезжай на Кавказ (Лев Сергеевич служил в Грузии) и познакомься с нею — да прошу не влюбиться в дочь". Пушкин сам был влюблен в эту дочь, и М. И. Корсакова верно звала его с собою.

---

[1]) «Архив Раевских», ред. и прим. Б. Л. Модзалевского, СПБ. 1909, т. II, стр. 97, прим. 2, и Б. Л. Модзалевский, «Библиотека Пушкина» («П. и его совр. IX — X) стр. 68.

[2]) «Кавказская поминка о Пушкине», Тифлис, 1899, стр. 109.

Но если Всеволожские действительно пустились на Кавказ с севера, то и Никита Всеволодович мог в Москве звать Пушкина на Кавказ, или по крайней мере Пушкин знал об его поездке и мог соблазниться мыслью встретиться там с ним.

Тут кстати припомнить и кое что другое. Годы 1828—30 Всеволожский сплошь провел на Кавказе [1]). Дружба с ним Пушкина и история проигранной тетради стихотворений были, конечно, хорошо известны в литературных кругах. Когда Пушкин в марте 1829 года взял в Петербурге подорожную до Тифлиса, Булгарин, не обинуясь, поставил эту поездку в связь с Всеволожским; „можно смело утверждать, — писал он Бенкендорфу, — что это путешествие устроено игроками, у коих он в тисках. Ему верно обещают золотые горы на Кавказе, а когда увидят деньги или поэму, то выиграют — и конец“: [2]) явный намек на ту историю. Еще любопытнее следующее: 10 августа 1829 года корреспондент «Северной Пчелы» сообщал из Владикавказа: „Сего числа был здесь проездом А. С. Пушкин. Он приехал к нам из Арзрума и на другой день отправился далее, с намерением побывать на Кавказских минеральных водах и потом отправиться, через Моздок и Кизляр, в Астрахань“ [3]). Так корреспондент мог писать только со слов Пушкина или его „человека“; очевидно, у Пушкина было такое намерение, — а оно не имело бы никакого смысла вне связи с Всеволожскими; только приглашение последнего, при встрече в Тифлисе, где служил тогда Всеволожский, — приглашение погостить у него в Черном Рынке, — могло бы объяснить этот далекий крюк — и именно через Кизляр и Астрахань. Но все это, разумеется, только догадки.

II

Вопрос о том, когда Пушкин писал «Путешествие», до сих пор не исследован. Редакторы сообщают обыкновенно, что первая глава, и то не вся, писана начерно во время самой поездки, в виде дневника, двумя кусками, датированными: „15 мая, Георгиевск“ и „мая 22, Владикавказ“, все-же «Путешествие» в целом написано де в 1835 году, которым помечено предисловие. Как известно, «Путешествие» было напечатано Пушкиным в первой книге «Современника» на 1836 год. — Я полагаю, что относить написание «Путешествия» к 1835 году

[1]) «Архив Раевских», том II, указ. М.

[2]) Соч. Пушкина под ред. П. О. Морозова, изд. „Просвещение“ т. VI, стр. 669.

[3]) Там же.

нет никаких оснований; повидимому, в этом году Пушкин только написал предисловие и перебелил (вероятно с поправками) вещь, написанную гораздо раньше.

Пушкин взял с собою в дорогу чистую, непочатую записную тетрадь, ту самую „толстую тетрадь в лист синей бумаги, в бумажном переплете“ [1]), которая теперь хранится в Румянцовском музее за номером 2382. Он обновил ее 15 мая в Георгиевске, начав с 1-й страницы записывать свои дорожные впечатления, потом продолжал 22 мая во Владикавказе и написал в общем, часто пропуская по многу белых страниц, т. е. в разных местах тетради, то, что соответствует печатному тексту первой главы до строк: „С высоты Гут-горы... с ее светлой Арагвой“ включительно. Этот черновой текст значительно разнится от печатного, и его следовало бы издать. Других черновиков «Путешествия» не сохранилось; оборвался ли на этом повествовательный дневник Пушкина во время путешествия, или продолжался и далее, мы не знаем. В Онегинском собрании нашлось 1/2 листа синей писчей бумаги, на котором рукою Пушкина, с помарками, написаны 23 строки: „Арзрум 12 июля 1829. Вот уже 6 дней, как я стою в Арзр“. Этот текст до сих пор не издан, описание Б. Л. Модзалевского сообщает только приведенное сейчас начало, как отрывок из 5-й главы „Путешествия“ (см. «Неизданный Пушкин», „Атеней“ 1922, стр. XVII). По всей вероятности, этот полулист вырван из той записной книги Пушкина, о которой выше идет речь; в ней вообще много вырванных листов. Значит, Пушкин и в дальнейшем повидимому вел запись, по крайней мере, временами. В той же тетради набросаны две конспективных записи для памяти в таком виде: „18-го июня. Арзрум; карантин; обед у гр. Паскевича; харем; сабля...“ или: „Переход через Кавказ, Дарьял, Казбек, Осетинцы, похороны. Поэт персидский. Принц Персидский“, и т. д. Все же это не решает вопроса о том, когда написаны остальные, кроме первой, главы «Путешествия»?

За отсутствием документальных сведений, этот вопрос приходится решать, очевидно, только на основании самого текста этих глав; и текст дает для этого достаточно указаний. «Путешествие в Арзрум» писано, конечно, не в 1835 году, а гораздо раньше, вскоре после самой поездки. За это говорит прежде всего общий характер повествования — подробность и точность рассказа, свежесть красок, которыми переданы испытанные впечатления. Спустя пять или шесть лет

[1]) «Описание рукописей Пушкина», В. Е. Якушкина, Рус. Стар. 1884 г. ноябрь, стр. 346.

после путешествия, Пушкин не мог бы так описать его. При том, в его рассказе сплошь и рядом попадаются хронологически-окрашенные выражения, брошенные мельком и оттого тем более ценные, выражения, уместные лишь во время или тотчас после путешествия, но не спустя годы. Так, говоря о „маранах", огромных кувшинах, зарытых в землю, в которых грузины хранят вино, Пушкин (во 2-ой главе) сообщает: „Недавно русский драгун, тайно открыв такой кувшин, упал в него", и т. д. Немного далее читаем: „Во время нынешних войн число их (армян в Тифлисе) еще умножилось". В 5-й главе читаем: „Нововведения, затеваемые султаном, не проникли еще в Арзрум; войско носит еще свой живописный военный наряд". Пушкин разумеет военные реформы Махмуда — уничтожение в 1826 году корпуса янычар и введение европейского обучения армии, — реформы, о которых после 1830 года никак нельзя было сказать: „затеваемые". Конечно, не позже 1830 или 31 года Пушкин мог писать о Сухорукове: „Ограниченность его желаний и требований по истине трогательна. Жаль, если они не будут исполнены"; как известно, Пушкин в этом смысле ходатайствовал за Сухорукова — и ответ Бенкендорфа ему, не оставлявший Сухорукову более никакой надежды, датирован 29 августа 1831 г. [1]). И, конечно, пять лет спустя, Пушкин не сказал бы в настоящем времени: „Бейбулат — мужчина лет тридцати пяти, малорослый и широкоплечий. Он по русски не говорит" и т. д.

Все эти выражения Пушкина, думается, с очевидностью свидетельствуют о том, что текст «Путешествия в Арзрум», по крайней мере начерно, в связном виде, весь был написан (может быть на основании отрывочных набросков, подобных Онегинскому), вскоре после поездки Пушкина, вероятно, осенью или зимою 1829 года [2]). Этот вывод подтверждается и характером тех дополнений, которые Пушкин, очевидно, в то же самое время, внес в написанные им на самом месте куски первой главы.

Одну такую вставку указал уже Е. Г. Вейденбаум. Именно, слова Пушкина: „Должно однакож надеяться, что приобретение восточного края Черного моря, отрезав черкасов от торговли с Турцией, принудит их с нами сблизиться", могли быть написаны только после заключения Адрианопольского договора, отдавшего России Кавказское побережье

[1]) В. Брюсов, «Письма Пушкина и к Пушкину», М. 1903, стр. 9.

[2]) „Стихотворный отрывок „Стамбул гяуры нынче славят", помещенный в 5-й главе „Путешествия", датированный в черновой 17 окт. 1830 г., мог быть вставлен в готовый текст.

Черного моря, т. е. после 2 сентября 1829 г., и, прибавлю, вероятнее всего — вскоре после заключения этого договора, когда факт был еще свеж у всех в памяти [1]). Другие дополнения в этой главе связаны с чтением Пушкина, именно с двумя книгами, вышедшими как раз в этом же году: с книгою графа И. Потоцкого «Voyage dans les steps d'Astrakhan et du Caucase», Paris, 1829, на которую он ссылается, говоря о Дарьяльском ущелье (эта книга сохранилась в его библиотеке [2]) — и с книжкою Н. Н., изданной, как сказано, тоже в 1829 г.

III

Пора нам, однако, обратиться к этой книжке. Она была разрешена цензурою в Москве 26 марта 1829 года, а Пушкин выехал из Москвы на Кавказ 1 мая этого же года. В течение одного месяца, апреля, книжка не могла быть отпечатана, — и, действительно, до начала мая в «Московских Ведомостях» не появилось объявления о ее выходе в свет; значит Пушкин не мог иметь ее при себе во время путешествия. В его библиотеке нашлись два экземпляра ее, один весь разрезанный, другой — разрезанный только в двух местах [3]), приобретенные или полученные им, очевидно, уже по возвращении на север. Эту книжку Пушкин имел перед глазами при обработке тех черновых записей своих, которые находятся в его дорожной тетради и которые легли в основание первой главы его «Путешествия». Дело в том, что часть пути Всеволожские с Н. Н. в 1826 году и Пушкин в 1829-м сделали, по одной и той же дороге, именно от Георгиевска до Тифлиса; и вот, при описании этой части пути Пушкин все время справлялся с книжкою Н. Н. и заимствовал из нее ряд дополнений в свой черновой дневник.

Сравнение этой первоначальной записи в тетраде № 2382 с печатным текстом «Путешествия», показывает, что все место — около полутора страниц — от „В семи верстах от Ларса" до „Скоро притупляются впечатления", вставлено при обработке.

В этом отрывке Пушкин несколько раз использовал текст Н. Н., в том числе однажды — даже в виде прямой, хотя и безымянной цитаты. Вот параллельные места:

---

[1]) Догадка Е. Г. Вейденбаума вполне подтверждается рукописью Пушкина: здесь фраза „Должно однакож надеяться"... вписана — и то не вся, а только до половины и оставлена недописанной — другими, гораздо более черными чернилами, и очень мелко, между строками и сбоку.

[2]) „Библиотека А. С. Пушкина", см. выше, стр. 314.

[3]) Там-же, стр. 67.

1. *Н. Н.* „Чрез 7 верст от Ларца находится Дарьяльское ущелье и в нем воинской пост, называемый также Дарьяльским“.

П. —„В семи верстах от Ларса находится Дарьяльский пост. Ущелье носит то же имя„.

2. *Н. Н.* (несколько раньше) — „Во многих местах скалы параллельно заграждают путь“.

П.—„Скалы с обеих сторон стоят параллельными стенами“.

3. *Н. Н.*: „Здесь так узко, так узко, что не только видишь, но будто чувствуешь тесноту!“

П. —„Здесь так узко, пишет один путешественник, что не только видишь, но, кажется, чувствуешь тесноту“.

4. *Н. Н.*: „Есть места, где для проезда в самом Тереке вдоль берега накладены в виде плотины каменья“.

П.—„В иных местах Терек подмывает самую подошву скал, и на дороге, в виде плотины, навалены каменья“.

5. *Н. Н.*—„Напротив его (т. е. Дарьяла), на другой стороне Терека, неприступная скала сохраняет на себе следы какого-то древнего здания“.

П.—„Против Дариала, на крутой скале, видны развалины крепости“.

6. *Н. Н.*: „Иные говорят, что тут жила царица Дария...“

П.—„Предание гласит, что в ней скрывалась какая то царица Дария...“ (П. опровергает эту легенду на основании сведений, сообщаемых гр. И. Потоцким).

7. *Н. Н.*—„... проехали мимо натуральной арки, называемой Троицкими воротами. Арка сия поддерживает огромный утес, под коим года за четыре была дорога, а ныне протекает Терек, часто меняющий свое направление...“

П. — „Мы увидели Троицкие ворота (арка, образованная в скале взрывом пороха); под ними шла некогда дорога, а ныне протекает Терек, часто меняющий свое русло“ (П. цитирует — и вместе молча исправляет: не натуральная арка, а образованная искусственно, взрывом пороха).

Вторая вставка в черновую запись — весь абзац: „Дорога шла через обвал...“ И здесь Пушкин использовал книжку Н. Н. Он пишет: „Дорога шла через обвал, обрушившийся в конце июня 1827 года“, и далее сообщает подробности об этом обвале, которых нет у Н. Н.; но дату он несомненно заимствовал у последнего, притом заимствовал оплошно. Е. Г. Вейденбаум указал, что в июне 1827 г., обвала не произошло [1]); у Н. Н. сказано: „Такой обвал случился до нас

[1]) См. «Кавказскую поминку о Пушкине», стр. 52, прим. 16.

за месяц, и мы в конце июня ехали по громадам снега", и т. д. Пушкин проглядел подчеркнутые здесь слова и отнес самый обвал к концу июня.

Третья вставка — в следующем абзаце, от слов „Малые обвалы" до „Здесь поставлен". Эта вставка подтверждает нашу мысль о времени, когда перерабатывалась первая глава; здесь сказано: „Малые обвалы здесь нередки. В прошлом году русский извощик ехал по Крестовой горе", и т. д.

Следующий абзац опять весь целиком добавлен; тут Пушкин опять пользовался книжкою Н. Н.

Н. Н.—„Разумеется, что редкие остаются здесь в экипажах, а обыкновенно идут пешком, и даже многие приказывают вести себя с завязанными глазами..."

П.—„Здесь путешественники обыкновенно выходят из экипажей и идут пешком. Недавно проезжал какой-то иностранный консул: он так был слаб, что велел завязать себе глаза", и т. д. (— анекдот, которого нет у Н. Н.).

Наконец, у Н. Н. заимствовал Пушкин (в самом конце 1-й главы) сведения о мосте через Куру, как памятнике римских походов.

Как известно, отрывок первой главы «Путешествия в Арзерум» — именно все то, что составляет вторую запись Пушкина в его дорожной тетради, — он напечатал в «Литературной Газете» Дельвига, 1830 года, в № 8-м, (5 февраля), под заглавием «Военная грузинская дорога". Здесь та вставка: „Должно однакож надеяться...": (об Адрианопольском мире уже налицо, но все четыре: вставки, сейчас указанные (в которых использована книжка Н. Н.), еще отсутствуют; значит общая переработка главы, с использованием книг Н. Н. и гр. Потоцкого, была произведена Пушкиным, во всяком случае, после января 1830 года.

В заключение необходимо указать у Пушкина еще одно совпадение с книжкою Н. Н., случайное или нет — трудно решить. Стихотворение «Монастырь на Казбеке» датировано в рукописи 20 сентября 1829 г.; судя по тому, что 21 сентября он сделал надпись на подаренном им Е. Н. Ушаковой экземпляре 1-й части своих «Стихотворений», он 20-го был уже с Москве. Конец этого стихотворения гласит:

Туда в заоблачную келью,
В соседство бога скрыться мне.

Трудно устоять против искушения сопоставить эти стихи со следующими словами Н. Н. о казбекском монастыре: „Древнее сие святилище, сопредельное облакам, как

будто нарочно сооружено было на таком месте, чтобы сближать людей с небесами".

IV

Зиму 1829—30 г. Пушкин провел в Петербурге. Здесь с 1 января начала выходить «Литературная Газета», затеянная Дельвигом с его помощью; но Дельвиг в первых же числах января уехал в Москву, оставив газету на руках Пушкина, который и редактировал ее единолично, при содействии Сомова, до средины февраля. За это время он и сам много печатал в «Газете — не только свои стихи, но и краткие заметки в отделах библиографии и смеси; как сказано выше, в № 8, от 5 февраля, он напечатал и отрывок из своих дорожных записок — «Военная грузинская дорога». Я полагаю, что им же написаны две рецензии, напечатанные в № 3, от 11 января, явно-связанные с его недавним Кавказским путешествием.

Вот они:

1) «Краткая всеобщая География Константина Арсеньева». Пятое издание, исправленное и дополненное С.П.б., в типогр. Х. Гинца, 1829 г. (310 стран. в 8-ю д.).

„Г. Арсеньев, долгое время занимавшийся преподаванием Географии и Статистики, и давно уже известный Российской Публике сочинениями своими по сим предметам, напечатал въ конце минувшего года новое издание Краткой Географии, сочиненной им. Сие, пятое уже издание, служит лучшим свидетельством того, что ученые труды Г. Арсеньева оценены по достоинству. В нынѣшнем издании Г. Арсеньев многое исправил и дополнил. Политическое разделение земли и Государств, ее составляющих, изображены в нынешнем их состоянии. Таким образом, напр., пределы России показаны в том положении, в каком они находились в конце минувшего 1829 года, т. е. по заключении Адрианопольского трактата. Все приобретения России по сему трактату, равно как и по Туркменчайскому мирному договору с Персиею, заключенному в 1828 году, означены верно. В конце сей Географии приложен Азбучный список областей, городов, морей, островов, гор и пр., упоминаемых в сей книге, с показанием страниц, на коих должно в ней отыскивать сии предметы. Искренне желаем сему пятому изданию такого ж успеха, какой имели четыре прежние.

2) «Всеобщий Атлас» или собрание карт всего земного шара, изданный для пользы юношества, по руководству Г-на Арсеньева и других. С.П.б., 1829. С одобрения Военно-топографического Депо. (32 карты, из коих 2 в лист, а остальные в боль. 4-ю д. л.) [1] — Сей Атлас составлен по новейшим и лучшим иностранным географическим картам, и сверен с всеобщею Географиею Г. Арсеньева. За точность и географическую правильность оного может ручаться то, что он пересмотрен и проверен был Главного штаба его императорского величества штабс-капитаном Ф. И. Позняковым, коего труды известны нашей публике по изданной им прекрасной Карте Европейской Турции, или Феатра последней войны Россиан с турками. Тридцать две карты, составляющие Всеобщий Атлас, выгравированы весьма чисто Г. Савинковым, и раскрашены тщательно, с точным означением границ каждаго Государства".

Среди тех, кто заполнял первые нумера «Литературной Газеты» (Дельвиг, Сомов, Пушкин, Вяземский), разумеется никто кроме Пушкина не интересовался в такой степени событиями на Турецкой границе, никто кроме него, не мог подтверждать правильность сведений о территориальных изменениях, произведенных Адрианопольским и Туркманчайским договорами, и т. п.

[1] Отмечу, что в рецензии на Илиаду Гнедича, несомненно принадлежащей перу Пушкина («Литер. газета», № 2, от 6 января), библиографические сведения даны так же подробно, и притом точно в той же форме: ...„въ боль. 4-ю д. л.". То же и в 1-й статье об «Истории русск. нар.» Н. Полевого («Литер. газета» № 4, от 16 января). Сравн. также его рецензии в «Современнике» 1836 г. на «Вастолу» и «Вечера на хуторе близь Диканьки».

Явь и сон

Обыкновенное русское слово „забвение“ Пушкин рано наполнил своеобразным содержанием и с тех пор употреблял его как специальный термин. Именно, словом „забвение“ он обозначал то состояние личности, когда душа как бы вдруг обрывает все бессчетные действенные нити, непрестанно ткущиеся между нею и внешним миром, и замыкается в самой себе. Тогда по свидетельству Пушкина, душа инертна и глуха во вне, но тем более полна внутри себя привольной и радужной игры; точно чудом каким замрет — и мгновенно оживет внутренно для свободного творчества, для буйного цветения. „Забвением“ Пушкин и называл внешнюю форму этого состояния, — отрешенность души от мира, ее замкнутость, при чем он редко определял забвение точнее, как „забвенье жизни“ или „забвенье суеты земной“: обыкновенно он говорит просто „забвенье“ (словоупотребление — непривычное русскому языку, который выработал для данного понятия другое слово от того же корня: з а б ы т ь е [1]). Внутреннее же состояние души в такие минуты он обозначал словами „сон“ или „сон души“; отсюда обычное у него выражение: „уснув душой“. Но этот сон, как сказано, по Пушкину полон движения.

Так он пишет стихотворение «К моей чернильнице»:

Беспечный сын природы,
Пока златые годы
В забвеньи трачу я,
и т. д.

и о Татьяне в 3-й песне «Онегина»:

Вздыхает, и себе присвоя
Чужой восторг, чужую грусть,
В забвеньи шепчет наизусть
Письмо для милого героя.

---

[1]) „Забвение“ по смыслу происходит от „забывать“, „забытье“ — от „забываться“, что и разумел Пушкин под „забвением“. Таких перечеканок в пушкинском языке немало; например, он неизменно употреблял слово „ничтожество“ в совершенно несвойственном этому слову смысле у н и ч т о ж е н и я, небытия.

Многочисленные, совершенно однородные заявления Пушкина на протяжении многих лет не оставляют сомнения в том, что по его мысли (основанной, конечно, на его личном опыте), это состояние духа, когда, наглухо замкнувшись от мира, он живет сам в себе и собою, есть счастливейшее состояние. „Забвение“ для Пушкина — синоним „восторга“. Уже в 1818 году, изображая „поэта“, погруженного в чтение «Истории» Карамзина, он говорит:

И благодарными слезами
Карамзину приносит он
Живой души благодаренье
За миг восторга золотой,
За благотворное забвенье
Бесплодной суеты земной.

(Жуковскому, ранняя ред.)

и, прося у женщины любовного свидания, повторяет те же синонимы:

День восторгов, день забвенья
Нам наверное назначь

(Оленьке Масон).

В конце 8-й песни «Онегина», расставаясь с Онегиным, с Татьяной и своим романом, он пишет:

Я с вами знал
Все, что завидно для поэта:
Забвенье жизни в бурях света,
Беседу сладкую друзей.

Забыться — счастие, и почти все равно, в чем найти забвение:

Что нужды? — Ровно полчаса
Мне ум и сердце занимали
Твой ум и дикая краса,

и вслед затем:

Друзья! не все ль одно и то же
Забыться праздною душой
В блестящей зале, в модной ложе,
Или в кибитке кочевой?

(Калмычке).

В 1819-м и в 1832 г.г. он одинаково называет забвенье „сладким“:

В забвенье сладком ловит он
Ее волшебное дыханье

(Русл. и Людм. V)

Хотел я душу освежить,
Бывалой жизнию пожить
В забвенье сладком близ друзей
Минувшей юности моей.

(Отрывок. 1832 г.)

Как уже сказано, с термином „забыться душой“ однозначен у Пушкина термин „уснуть душой“; например:

Уснув душой, безмолвно я грущу

(Уныние)

Приду ли вновь под сладостные тени
Душой заснуть на лоне мирной лени?

(Желание)

И в сладостный безгрешный сон
Душою погрузился он

(Онегин. IV, 11)

Заснуть душой — замкнуться от мира, стать слепым и глухим во вне; так, о бедном рыцаре Пушкин говорит:

С той поры, заснув душою,
Он на женщин не смотрел.

Мы увидим дальше, что порою Пушкин в тех же строках без различия перемежает оба термина: „забыться“ и „заснуть“, „забвенье“ и „сон“.

Как же живет дух в минуты этой блаженной отрешенности? — По свидетельству Пушкина, дух живет тогда своим собственным содержанием. И тут у Пушкина намечается двоякий опыт: по его мысли иногда посторонний толчок погружает душу в забвение, и она начинает жить сама в себе; иногда же нечто, возникшее в ней самой, внезапно вырывает ее из явного бытия и на некоторое время наполняет ее своим цветением, так что никакому внешнему восприятию уже нет доступа в нее; т. е. известное интимное переживание души является либо только содержанием „сна“, либо вместе и причиной „забвения“, и содержанием „сна“.

Таковы прежде всего воспоминания, т. е. те внешние восприятия, те чувства и мысли, причиненные извне, которые к моменту отрешения уже ассимилированы духом и сделались его личным достоянием. Эта связь „забвения“ с воспоминанием носит у Пушкина почти характер закономерности. Так он говорит о Людмиле:

Иль, волю дав своим мечтам,
К родимым Киевским полям
В забвенье сердца улетает,
Отца и братьев обнимает,
Подружек видит молодых
И старых мамушек своих.
Забыты плен и разлученья!

(Русл. и Людм. IV)

Он забывался: в нем теснились
Воспоминанья прошлых дней.

(Кавказский Пленник)

Вновь нежным отроком, то пылким, то ленивым,
Мечтанья смутные в груди моей тая,
Скитался по лугам, по рощам молчаливым...
Поэтом забывался я!

И славных лет передо мною
Являлись вечные следы

(Восп. в Царск. Селе)

Быть может, в мысли нам приходит
Средь поэтического сна
Иная, старая весна

(Онегин. VII, 3)

...Я живу
Теперь не там, но верною мечтою
Люблю летать заснувши на яву,
В Коломну, к Покрову, и в воскресенье
Там слушать русское богослуженье.

(Дом. в Кол.)

В черновом наброске «Давно ли тайными судьбами» есть такие строки:

Но (часто) сердцем (душою) ищем усыпиться
В минувшем (времени) живем;

эти строки тут же переделаны так:

Но сердце тихим сном
В минувшем любит забываться.

В последней песне «Онегина» Пушкин рассказывает о своем герое:

И постепенно в усыпленье
И чувств, и дум впадает он,
И перед ним воображенье
Свой пестрый мечет фарао н.

То видит он на талом снеге,
Как-будто спящий на ночлеге,
Недвижим юноша лежит,
И слышит голос: „что ж? убит!“,
То видит он врагов забвенных,
Клеветников и трусов злых,
И рой изменниц молодых,
И круг товарищей презренных,
То сельский дом — и у окна
Сидит она...

(Онегин. VIII, 37).

Даже в полном и окончательном отрешении души от внешней действительности еще сохраняется, по мысли Пушкина, воспоминание, последняя тончайшая связь души с миром. Отшельник в «Руслане и Людмиле» говорит о себе:

Ах, и теперь, один, один,
Д у ш о й у с н у в в дверях могилы,
Я п о м н ю г о р е с т ь и порой
Как о минувшем мысль родится,
По бороде моей седой
Слеза тяжелая катится.

(Русл. и Людм. I).

Таков и Пимен, умерший для мира, и однако „душой в минувшем погруженный“.

К одной категории с воспоминаниями относятся и другие переживания души, также внушенные извне, но ставшие личной собственностью данного духа. Таковы надежды:

В ней сердце, полное мучений,
Хранит н а д е ж д ы т е м н ы й с о н

(Онегин. III, 39).

Обманчивей и с н о в н а д е ж д ы,
Что слава?

(Разг. Книгопр. с Поэтом)

Неясных темных о ж и д а н и й
Обманчивый но сладкий сон

(Алексееву).

Таковы и переживания любви. Пушкин часто называет любовь „сном“, разумея в этих случаях под любовью, конечно, не объективное и конкретное явление любви, а тот почти отрешенный, глубоко личный комплекс чувствований, каким она становится внутри души. Любовь есть „сон души“, потому что она самодержавно господствует в душе, наглухо отрешая

ее от всей остальной действительности. Вот несколько примеров:

И горе жизни скоротечной,
И *сны любви* воспоминал.
(Друзьям)

Она поэту подарила
Младых восторгов первый сон.
(Онегин. II, 22)

Любви пленительные сны.
(Онегин. III, 13)

Как сон любви.
(Онегин. IV, 7)

„Не Гретхен ли?“
— О *сон* чудесной!
О, пламя чистое любви!
(Сц. из Фауста)

Как сон, как утренний туман
Любви сокрылось сновиденье
(Талисман, черн.).

Но воспоминания, надежды, любовные чувства — еще переживания, исшедшие из внешней действительности. Душа, по опыту Пушкина, живет в минуты забвения и вполне самобытными переживаниями, возникающими тут же, на полной свободе, без всякого воздействия извне. Поэтому всякое беспричинное и иррациональное порождение духа Пушкин неизменно называет „сном“. Он пишет в разные годы:

Где дни мои текли в глуши,
Исполнены страстей и лени
И *снов задумчивой* души
(Онегин. VI, 46)

И *сердца трепетные сны.*
(Онегин. VIII, 1)

Блажен...
Кто *странным снам* не предавался.
(Онегин. VIII, 10)

Странным сном
Бывает сердце полно.
(Дом. в Кол.)

Я ехал к вам: *живые сны*
За мной вились толпой игривой.
(Приметы).

В этом разряде самочинных переживаний души первое место по яркости и силе, а главное — по абсолютной необусловленности, по суверенному произволу возникновения и сцепления, занимают, конечно, образы фантазии. Причудливая игра воображения есть по Пушкину как бы специфическая деятельность души в ее отрешенном состоянии; или наоборот: грёза воображения, чуть вспыхнув, погружает душу в сон, как состояние, и сама есть сон в другом смысле этого слова — в смысле сновидения. Пушкин употребляет термин „сон воображения“ всегда в этом последнем смысле — сновидения, т. е. самобытной, необусловленной грезы — и потому часто во множественном числе [1]).

То был ли сон воображенья
Иль плач, совы, иль зверя вой...

(Полтава)

Иль только сон воображенья
В пустынной мгле нарисовал
Свои минутные виденья,
Души неясный идеал?

(Бахч. Фонт.)

Он любит сны воображенья

(Платон. люб.)

В моей утраченной весне
Как мало нужно было мне
Для милых снов воображенья.

(Алексееву, черн.).

Еще хранятся наслажденья
Для любопытства моего
Для милых снов воображенья!

(О, нет, мне жизнь не надоела).

И здесь, как всюду, интуитивное мышление Пушкина, или, если угодно, его интуитивное словоупотребление, развивается диалектически с строгой последовательностью: если всякое, даже случайное создание воображения есть „сон“, то

---

[1]) Речь идет здесь именно о грезах воображения, — но надо заметить, что понятие воображения у Пушкина вообще шире: он и воспоминание считает функцией воображения, как показывают цитированные выше стихи об Онегине:

И перед ним воображенье
Свой пестрый мечет фараон,

после чего следует ряд картин памяти.

и грезы, порождаемые поэтической фантазией, эти стройные, гармонические образы творческого воображения — также ничто иное, как „сны“: создания души в ее наибольшей отрешенности от мира, наибольшей свободе и наибольшей напряженности, — „мечтанья неземного сна“. Пушкин так изображает процесс своего творчества:

Бывало, милые предметы [1])
Не правда-ль милые предметы,
Которым за свои грехи
Писали втайне вы стихи,
Которым сердце посвящали,
Не все ли, русским языком
Владея слабо и с трудом,
Его так мило искажали
и т. п.

(III, 27.)

Мне снились и душа моя
Их образ тайный сохранила,
Их после Муза оживила:
Так я, беспечен, воспевал
И деву гор, мой идеал,
И пленниц берегов Салгира.

(Онегин. I. 57).

Он говорит в конце поэмы:

Промчалось много, много дней
С тех пор, как юная Татьяна
И с ней Онегин в смутном сне
Явилися впервые мне.

(VIII, 50),

он говорит:

И сны поэзии бывалой
Толпою снова возмутить.

(Разг. Книгопр. с Поэтом)

И вы заветные мечтанья,
Вы, признак жизни неземной,
Вы, сны поэзии святой!

(Онегин. VI, 36)

В глуши звучнее голос лирный,
Живее творческие сны.

---

[1]) Под „милыми предметами“ Пушкин разумеет женщин, как об‘ектов любви; так, в третьей песне «Онегина»:

Но нигде он не нарисовал так отчетливо картину отрешения души от мира и наступающей затем самобытной жизни ее, — этого внешнего омертвения и роскошного внутреннего цветения ее, как в следующих строках своей «Осени»:

И забываю мир, и в сладкой тишине
Я сладко усыплен моим воображеньем,
И пробуждается поэзия во мне:
Душа стесняется лирическим волненьем,
Трепещет, и звучит, и ищет, как во сне,
Излиться наконец свободным проявленьем, —
И тут ко мне идет незримый рой гостей,
Знакомцы давние, плоды мечты моей.

Итак, по Пушкину, наряду с дневной, будничной жизнью души, когда вся ее внутренняя деятельность обусловлена извне, есть другая самобытная жизнь души, отрешенная от мира, — жизнь полной внутренней свободы; и эта жизнь лучше, выше той. То, что я рассказал здесь, только отчасти вскрывает эту мысль Пушкина — одно из его основных познаний и главный стержень его мировоззрения, как несомненно обнаружит будущая философская биография его. Вильгельм Гумбольдт сказал, что единственно неподвижный полюс человек носит в своей душе. С несравненной конкретностью, почти осязательно, он ощущал свое духовное бытие, как твердый обрыв среди зыби вод, как замкнутую, самодовлеющую, единственно реальную жизнь своей личности. Поэтому „явь“ была для него призраком и томлением, и только „сон“ — правдой и счастьем.

Тень Пушкина

В стихотворении «Воспоминание в Царском Селе», 1829 года, упомянув о сподвижниках Екатерины, чьи памятники стоят в Царскосельском саду, Пушкин говорит:

Садятся призраки героев
У посвященных им столпов.

Если эта метафора, то, надо признаться, слишком смелая. Но все стихотворение так серьезно и грустно, да и вообще об эту пору поэтический стиль Пушкина был уже настолько трезв и строг, что предположение о пустой игре образом приходится оставить, как мало правдоподобное. Итак, странные эти два стиха написаны Пушкиным, повидимому, совершенно серьезно. Что же они выражают?

Дикарь верит, что душа умершего становится существом особого рода — призраком, что она сохраняет связь со своей бывшей земной обстановкой и что поэтому призрак покойного носится вокруг его бывшего дома, дает о себе знать родичам и т. п. У Гомера тень убитого Патрокла, „подобная дыму", является его земному другу Ахиллесу. Пушкин говорит совершенно то же:

Садятся призраки героев
У посвященных им столпов.

Мы сейчас увидим, что такое понимание этих двух стихов вполне верно, и вместе убедимся и в том, что Пушкин действительно разделял с бушменами и фиджийцами их веру в „духов" умерших людей.

В писаниях Пушкина трижды за разные годы встречается необычайное выражение „тайны гроба": во второй песне «Онегина», 1823 г. — „И гроба тайны роковые"; в «Воспоминании» 1828 г. — „О тайнах счастия (или — вечности) и гроба", и в «Заклинании», 1830 г. — „Иль чтоб изведать тайны гроба". Предвосхищая дальнейшее изложение, скажу теперь же, что

вопрос о загробном существовании стал тревожить Пушкина удивительно рано, лет с 16-ти или 17-ти, что в дальнейшие двадцать лет своего творчества он многократно возвращался к этому вопросу, и что мысль его об этом предмете на всем протяжении лет была одержима сомнением. Самый вопрос предстоял ему в такой форме: во-первых, умирает ли человек совсем, не только телом, но и душою, или же личность умершего сохраняется, принимая лишь иную форму, не материальную, и продолжает существовать в виде „тени“, „призрака“? Во-вторых, если человека переживает его „тень“, то эта „тень“ сохраняет ли свои прежние, земные чувства и отношения, или она отрешается от всего земного и всецело погружается в запредельную бесчувственность и беспамятность по отношению к миру и своей прошлой жизни в нем? Логически здесь были два отдельных вопроса; психологически, в чувстве Пушкина оба сводились к одному: тень бесчувственная была для него мертва, потому что в ней погашена индивидуальность; для него было важно только загробное переживание конкретного „я“, т. е. сохранение в призраке тех самых чувств, желаний, привязанностей, которые при жизни составляли эту единственную личность, например, его, Пушкина. Я покажу дальше, как колебался он между обеими альтернативами и куда склоняла его неодолимая потребность верить. Он не знал того метафизического ухищрения, в силу которого будто бы должно различать в живом человеке два „лика“: чистый, умопостигаемый — и эмпирический, погруженный в вещественность, вместилище страстей и греха. Он ощущал себя со своими страстями и думами, как простое и неразложимое единство, и таким хотел жить вечно.

В 1829 году, в отброшенной потом строфе стихотворения «Брожу ли я вдоль улиц шумных», Пушкин писал:

Кружусь ли я в толпе мятежной,
Вкушаю ль сладостный покой,
Но мысль о смерти неизбежной
Везде близка, всегда со мной.

Это „всегда“ надо понимать очень распространительно: мысль о смерти была ему близка с отроческих лет. И это была действительно мысль, размышление.

Как раз в ранние годы он много размышлял на эту тему философически и эти свои раздумья несколько раз излагал в поэтической форме. Позднее он уже не рассуждал о смерти,

за явной безнадежностью таких размышлений, а только утверждал, или отрицал, или оставлял вопрос нерешенным.

Впервые его рассуждающее мышление о смерти отразилось в стихотворении «Безверие», 1817 года. Но здесь он еще не ставит Гамлетовского вопроса: какова загробная участь души? Напротив, объективное содержание этого вопроса он оставляет в стороне. Он рассуждает вполне утилитарно: верить в загробное переживание личного „я" — в высшей степени утешительно, безверие же, лишенное надежды, ужасно; горе тому, кто мыслит смерть как окончательное угасание личности! Такому человеку страшно умирать, и в утрате близких ему нет утешения.

Итак, верить в посмертную жизнь души — выгодно. Разумеется, мысль Пушкина не могла остановиться на этом; за выгодой и невыгодой вырастал вопрос об истине. Вот два убеждения, исключающих друг друга: надо принять то из них, которое верно, хотя бы оно и леденило душу. И Пушкин принялся рассуждать.

Особенно упорно он размышлял об этом предмете, повидимому, в 1821 — 1823 г.г., когда и был им написан ряд стихотворений на тему о смерти. Но о чем он мог размышлять? В том вопросе, который занимал Пушкина, человек равно лишен и фактических данных, и логических доводов, на которых он мог бы обосновать свой ответ. Здесь решение беспрекословно диктуется личным чувством, безотчетной верой, если только человек сумеет расслышать в себе голос своей подлинной воли. И Пушкин действительно не мыслит: он только допрашивает себя, он как бы снова и снова примеряет на себя веру и отрицание, чтобы познать себя в этой точке мировоззрения.

Свой основной вопрос о смерти Пушкин полностью поставил перед собою в стихотворении 1821 года «Война».

> Кончину ль темную судил мне жребий боев,
> И все умрет со мной: надежды юных дней,
> Священный сердца жар, к высокому стремленье,
> Воспоминание и брата, и друзей,
> И мыслей творческих напрасное волненье,
> И ты, и ты, любовь?...

В этом весь вопрос: угаснет ли личность со всем, что наполняло ее живую, что сейчас, в эту минуту, образует ее бытие? Эта возможность немыслима, невыносима. И в особенности невозможно вынести мысль, что угаснет то чувство, которое сейчас составляет как бы огненный центр личности,— любовь, вот эта, моя любовь, к этой определенной женщине.

Первое как бы непроизвольное движение Пушкина — отбросить эту мысль, воскликнуть: „не верю! этого не может быть! С предвидением „ничтожества“, т. е. полного уничтожения личности, жить нельзя“. Но характерно, что стихотворение, в котором он хотел излить это свое чувство, осталось неконченным; я говорю о малоизвестном отрывке, который исследователи относят к 1822 году:

Ты, сердцу непонятный мрак,
Приют отчаянья слепова,
Ничтожество! пустой призрак,
Не жажду твоего покрова!
Мечтанья жизни разлюбя,
Счастливых дней не знав от века,
Я все не верую в тебя,
Ты чуждо мысли человека.
Тебя страшится гордый ум.
Так путник, с вышины внимая
Ручьев Альпийских вечный шум
И взоры в бездну погружая,
Внезапным ужасом томим,
Дрожит, колеблется — пред ним
Предметы движутся, темнеют,
В нем чувства хладные немеют,
Кругом оплота ищет он,
В очах все меркнет, исчезает,
И обморок, как смертный сон,
На край горы его бросает...
Конечно, дух бессмертен мой.
Но, улетев в миры иные,
Ужели с ризой гробовой
Все чувства брошу я земныя
И чужд мне станет мир земной?
Ужели там, где все блистает
Нетленной славой и красой,
Где чистый пламень пожирает
Несовершенство бытия,
Минутных жизни впечатлений
Не сохранит душа моя —
Не буду ведать сожалений,
Тоску любви забуду я?
Любви! но что же за могилой
Переживет еще меня?
Во мне бессмертна память милой —
Что без нее душа моя?
Вы нас уверили, поэты,
Что тени тайною толпой
От берегов печальной Леты
Слетаются на брег земной,
Что с умиленьем посещают
Места, где жизнь была милей,
И в сновиденьях утешают
Сердца покинутых друзей.
Они, бессмертие вкушая,

В Элизий поджидают их,
Как в праздник ждет семья родная
Замедливших гостей своих...
Мечты поэзии прелестной,
Благословенные мечты!
Люблю ваш сумрак неизвестный
И ваши тайные цветы.
Зачем не верить вам, поэты?

Это — не рассуждение, это крик ужаса пред „ничтожеством". Нарисовав себе картину полного уничтожения, поэт с содроганием отворачивается от нее и судорожно цепляется за надежду, подаваемую поэтами, не спрашивая, на чем основаны их уверения, веря только потому, что не поверить — слишком страшно. В черновой этого стихотворения его чувства выражены отчасти еще ярче, например, в этих строках:

(Забыть) забыть любовь!
(Мою любовь!) но что же за могилой
Переживет еще меня?
Он мой, он вечен, образ милой,
Бессмертен, как душа моя!

или:

Что без него душа моя!

И в другом месте:

Мечты поэзии прелестной
(Я вас люблю)

или:

Я верю вам.

Это голос сердца — разуму здесь вовсе не дано слова. Но он скоро заговорит. К 1823 году относят следующие два наброска, где робкое сердце точно молит о пощаде, но ум властно изрекает свой неумолимый приговор.

Придет ужасный миг... твои небесны очи
Покроются, мой друг, туманом вечной ночи,
Молчанье вечное твои сомкнет уста —
Ты навсегда сойдешь в те мрачные места,
Где прадедов твоих почиют мощи хладны;
Но я, дотоле твой поклонник безотрадный,
В обитель скорбную сойду я за тобой
И сяду близ тебя недвижный и немой...
Лампада бледная твой труп осветит,
Мой взор движенья не заметит,
Ни чувства нежного, ни гнева на лице.
Коснусь я хладных ног, к себе их на колени
Сложу и буду ждать... чего?
Чтоб силою мечтанья моего...

Это горькое „чего?“ звучит безнадежностью. Что мог Пушкин сказать дальше? Попытка нарисовать загробный приход души на зов любящего обрывается на первой же строке, потому что рассудочная мысль леденит воображение — готовый родиться образ тускнеет и гаснет.

В тетради Пушкина, на той самой странице, где внизу, под тонкой чертою, написан этот отрывок, выше набросана в черновом виде 16-ая строфа второй песни «Онегина»:

В прогулке их уединенной
О чем не заводили спор!
С у д ь б а д у ш и, судьба вселенной —
На что не обращали взор!
И предрассудки вековые,
И т а й н ы г р о б а р о к о в ы е,
Судьба и жизнь — в свою чреду
Все подвергалось их суду.

Так сильно занимала его тогда „судьба души“ — ее посмертная судьба, — что свои раздумья он приписал даже Ленскому с Онегиным. — А на следующей странице тетради написан второй из упомянутых мною отрывков.

Надеждой сладостной младенчески дыша,
Когда бы верил я, что некогда душа,
От тленья убежав, уносит мысли вечны,
И память, и любовь в пучины бесконечны,
Клянусь! давно бы я оставил этот мир:
Я сокрушил бы жизнь, уродливый кумир,
И улетел в страну свободы, наслаждений,
В страну, где смерти нет, где нет предрассуждений,
Где мысль одна живет в небесной чистоте...
Но тщетно предаюсь пленительной мечте!
Мой ум упорствует, надежду презирает...
Ничтожество меня за гробом ожидает...
Как! ничего! ни мысль, ни первая любовь!
Мне страшно... и на жизнь гляжу печально вновь,
И долго жить хочу, чтоб долго образ милой
Таился и пылал в душе моей унылой!

В первой редакции было:

Но верить не могу пленительной мечте!
Мой ум упорствует, не верит, негодует...
Ничтожество зовет — невольником мечты — ...
Меня ничтожеством могила ужасает...

Недаром Пушкин в этом самом году написал и своего «Демона». Дух анализа, скепсиса давно гнездился в нем, мучил ум сомнением, смеялся над его ребяческой верою, — он пытался заглушить этот голос, „пленяя ум обманом“; но с годами демон все больше забирал власть над душою:

Его язвительные речи
Вливали в душу хладный яд;

от него некуда было укрыться, и вот он победил — „он одолел мой ум в борьбе“, говорит Пушкин. Вера была убита и ничего не осталось.

В замену прежних заблуждений,
В замену веры и надежд

осталась пустота, — бедный клад ненужной истины.

В 1825 году Пушкин переделывает для печати первый из приведенных выше набросков — «Ты сердцу непонятный мрак». В черновой 1822 года так беззаветно звучал теплый голос, веры и сомнению вовсе не дано было слова, — теперь его голос явно превозмогает веру.

Люблю ваш сумрак неизвестной
И ваши тайные цветы,
О вы, поэзии прелестной
Благословенные мечты!
Вы нас уверили, поэты,
Что тени легкою толпой
От берегов холодной Леты
Слетаются на брег земной
И невидимо навещают
Места, где было все милей,
И в сновиденьях утешают
Сердца покинутых друзей;
Они, бессмертие вкушая,
Их поджидают в Элизей,
Как ждет на пир семья родная
Своих замедливших гостей...
Но, может быть, мечты пустые —
Быть может, с ризой гробовой
Все чувства брошу я земные,
И чужд мне будет мир земной;
Быть-может, там, где все блистает
Нетленной славой и красой,
Где чистый пламень пожирает
Несовершенство бытия,
Минутных жизни впечатлений
Не сохранит душа моя:
Не буду ведать сожалений,
Тоску любви забуду я...

Что до сих пор таилось и наростало в Пушкине, то теперь созрело: он сознательно понял свое коренное, не навеянное со стороны отношение к вопросу о загробной жизни. И это отношение оказалось не простым, а двойственным: „верить не могу пленительной мечте“, т. е. мечте о бессмертии личности, — и в то же время „меня ничтожеством могила ужа-

сает“. Истина предстала взору — невозможно отвергнуть ее, но вид ее столь страшен, что нет сил и принять ее. Это раздвоение души, мучительный раздор между мыслью и чувством, проходит отныне скорбной нотой через все творчество Пушкина. Я сказал уже: в свою зрелую пору он больше не рассуждает на эту тему: он только утверждает коротко; и утверждает он попеременно то „низкую истину“ безверия, то „нас возвышающий обман“ веры, который он до конца не мог и не хотел погасить в себе.

Итак, мы найдем в его поэзии два ряда заявлений, один отрицательный, другой положительный, во всей их полярной противоположности. О примирении между обоими, разумеется, не могло быть речи. И так как оба ряда исходили из подлинного грунта его души, то оба начинаются еще задолго до эпохи его самосознания, т. е. 1822 — 1823 годов, и на всем своем протяжении беспрестанно скрещиваются и перемежаются, как две свитые нити. Поэтому нет никакой надобности сопоставлять тот и другой хронологически. Я приведу их раздельно, сперва отрицательный.

«К молодой вдове» 1816 г. Желая ободрить молодую вдову, смущенную во время свидания воспоминанием о муже, он говорит:

Верь мне: узников могилы
Беспробуден хладный сон;
Им не мил уж голос милый,
Не прискорбен скорби стон.
Нет, разгневанный ревнивец
Не придет из вечной тьмы!
Тихой ночью гром не грянет,
И завистливая тень
Близ любовника не станет,
Вызывая спящий день.

«Гроб юноши», 1821 г.

Там, на краю большой дороги,
Где липа старая шумит,
Забыв сердечные тревоги,
Наш бледный юноша лежит.
Напрасно блещет луч денницы,
Иль ходит месяц средь небес,
И вкруг бесчувственной гробницы
Ручей журчит и шепчет лес;
Напрасно утром за малиной
К ручью красавица с корзиной
Идет и в холод ключевой
Пугливо ногу опускает:
Ничто его не вызывает
Из мирной сени гробовой.

«Онегин», седьмая песнь, строфа 11-ая в черновой рукописи, 1827 — 1828 г.

Мой бедный Ленский! За могилой,
В пределах вечности глухой,
Смутился ли певец унылой
Измены вестью роковой,
Или над Летой усыпленной
Поэт, бесчувствием блаженной,
Уж не смущается ничем
И мир ему закрыт и нем?
По крайней мере из могилы,
Не вышла в сей печальный день
Его ревнующая тень,
И в поздний час, Гимену милый,
Не испугали молодых
Следы явлений гробовых.

Характерно для зрелых лет Пушкина, как он затем переделал эту строфу. В первой половине ее поставлен вопрос: почувствовала ли душа Ленского за гробом измену Ольги? Вторая половина не давала ответа — она только констатировала внешний отрицательный симптом. Эту вторую часть строфы Пушкин теперь отбросил, заменив ее шестью стихами совсем на другую тему, — и весьма нескладно: от вопроса о загробном чувствовании речь вдруг перескакивает на отношение живых к мертвому, что̀ вовсе не вяжется с началом.

Так! Равнодушное забвенье
За гробом ожидает нас.
Врагов, друзей, любовниц глас
Вдруг молкнет. Про одно именье
Наследников сердитый хор
Заводит непристойный спор.

Только в этой связи становится понятным и стихотворение «Череп» 1827 года. По крайней мере, во мне эта длинная пьеса всегда возбуждала недоумение; я находил ее бессодержательной и скучной, не понимал, зачем Пушкин ее написал. Только в ряду его упорных размышлений о загробной жизни «Череп» оживает полным смыслом.

Юмор «Черепа» — маска глубокой боли, Galgenhumor, как говорят немцы; в шутливой форме Пушкин проделывает достаточно мрачный опыт. Если тень влюбленного не приходит наказать изменницу, это кое что говорит о загробном состоянии души. Возьмем другой подобный случай, не менее показательный: покойный барон, предок Дельвига, был грозный рыцарь и при жизни, конечно, никому не дал бы себя в обиду; как жила его душа после смерти, мы, разумеется, не знаем, но ничто не мешает нам думать, что жила и чувствовала: по

крайней мере, мы вправе были бы так думать, пока не представлялось случая проверить наше предположение. Оттого Пушкин, рассказав о смерти барона, говорит:

Барон в обители печальной
Доволен, впрочем, был судьбой.
Пастора лестью погребальной,
Гербом гробницы феодальной
И эпитафией плохой.

Но вот наступает час проверки — случай единственный, в высшей степени решительный; тут то мы узнаем, что делается с душою за гробом. Беспутный студент и вдвойне преступный кистер, вдвойне потому, что он же, по долгу службы, — хранитель склепа, приходят ночью в склеп, чтобы забрать кости барона и унести их домой: студенту, видите ли, захотелось украсить свою комнату скелетом! Что сказал бы барон, если бы при жизни ему представилась даже только возможность такого надругательства? Легко представить себе изумление и потом ярость, которые овладели бы им; он топал бы ногами, ревел бы на весь замок: Unerhört! и наконец успокоился бы на мысли, что и мертвый он не даст себя в обиду и жестоко проучит нахалов. Доведя рассказ до решительной минуты, когда студент и кистер, сойдя в подвал, уже готовы при свете факела приступить к своему кощунственному делу, Пушкин точно минуту ждет: ну ка, что сделает барон? — и затем вдруг обрывает стихи и продолжает в п р о з е: ничего не произошло; барон мертв, в е с ь мертв, не только телом. Вот эти строки, в которых под насмешкою затаена меланхолия: „Я бы никак не осмелился оставить рифмы в эту поэтическую минуту, если бы твой прадед, коего гроб попался под руку студента, вздумал за себя вступиться, ухватя его за ворот, или погрозив ему костяным кулаком, или как нибудь иначе оказав свое неудовольствие; к несчастию, похищенье совершилось благополучно. Студент по частям разобрал своего барона и набил карманы костями его. Возвратясь домой он очень искусно связал их проволокою, и таким образом, составил себе скелет очень порядочный“. И дальше судьба баронова скелета — судьба любой вещи: студент, уезжая из Риги, раздарил его по частям, большая часть костей досталась аптекарю, потом Вульф, приятель Пушкина и Дельвига, получил баронский череп в подарок и держал в нем табак, а теперь подарил его Пушкину, который и посылает его Дельвигу, как потомку барона, советуя обделать его в „увеселительную“, т. е. винную чашу и запивать из него уху да кашу. — Можно подумать, что Пушкин заимствовал тему своего «Черепа» у Шекспира — из того места „сцены на

кладбище", где Гамлет говорит о черепе приказного: „Где теперь его кляузы, ябедничества, крючки, взятки? Зачем терпит он толчки этого грубияна (могильщика) и не грозится подать на него жалобу о побоях?"

Но самому Пушкину этот череп, как предмет грандиозного, хотя и воображаемого эксперимента, говорит многое. Оттого он и кончает стихотворение словами:

О, *жизни мертвый проповедник*,
Вином ли полный иль пустой,
Для мудреца, как собеседник,
Он стоит головы живой.

Этот череп проповедует именно не о смерти — он говорит нам о бренности, о призрачности всего, что составляет нашу жизнь, чем полон наш дух при жизни. Любовь Ленского, гордое самосознание барона — огненные фокусы их личности, горевшие так сильно, что казались вечными, — смерть мимоходом погасила их, как ребенок слабым дыханием гасит пламя спички; вспыхнули, погорели миг, и погасли — и так погаснет все, чем горит мой дух, Пушкина. Какая же цена радости и муке этого горения, какая может быть существенность в моей любви, в моих думах, в „мечтаньях золотого сна", которые смерть развеет бесследно? В шестой песни «Онегина», рассказав о смерти Ленского, Пушкин опять — уже который раз! — ставит свой неотвязный вопрос:

Увял! Где жаркое волненье,
Где благородное стремленье
И чувств, и мыслей молодых,
Высоких, нежных, удалых?
И жажда знаний и труда,
Где бурные любви желанья,
И страх порока и стыда,
И вы, заветные мечтанья,
Вы, призрак жизни неземной,
Вы, сны поэзии святой?

Все сгинуло, „исчезло в урне гробовой"! А если так, то стоит ли гореть, отдаваться страсти, желаниям, надеждам? Эти мысли впадали в одно русло Пушкинского духа, — в то настроение, когда жизнь казалась ему бесцельной ездою „до ночлега", когда он писал о себе: „Сердце пусто, празден ум" и людские поколения называл „мгновенной жатвой", которая по воле провидения „восходит, зреет и падет".

Биография Пушкина, воспоминания о нем людей, его знавших, особенно же самая поэзия свидетельствуют о том, что в его жилах текла горячая кровь. Необычайная страстность темперамента выделяла его среди людей всю жизнь. Его восприимчивость была, без сомнения, исключительно чутка, впечатления необыкновенно глубоки и ярки. Он влюблялся быстро и любил пламенно, терзался жгучей ревностью, желал необузданно. Конкретность его чувства удивительна; где пред взором заурядного человека действительность проходит безликой серой вереницей призраков, там Пушкин осязал плоть явлений, отчетливо видел их лица в их острой индивидуальности, и страстно внедрялся в каждое. Обычное состояние его духа было как раз противоположно тому, которое он описывает словами: „сердце пусто, празден ум". Напротив, его чувство и ум почти всегда были полны и деятельны, и всякое сильное впечатление овладевало им всецело, как бы до краев наполняло его волнением; недаром он сам говорит о „пламенном волненьи" и „бурях" души своей („....что пламенным волненьем — и бурями души моей"....).

Но возбужденное состояние духа не совместимо с критикой и самооценкой. Чем полнее чувство, тем увереннее оно ощущает себя непреложным и неистребимым. Возбужденное чувство как будто принуждает мысль освящать себя, и мысль послушно исполняет верховный приказ: она подтверждает чувству, что оно — действительно подлинное, органическое чувство, что оно донельзя существенно и, стало быть, „вечно"; так всякий влюбленный убежден, что любит навсегда. Когда же пыл чувства разгорается в страсть, тогда легко опрокидывается и последняя, казалось — несокрушимая преграда — мысль о неизбежной смерти. Страсть в зените не может мыслить себя зависящей от каких либо земных условий, например, о бренности тела: она уверенно знает себя безусловной, ничему не подвластной, следовательно, бессмертной.

Человеку такого огненного темперамента, как Пушкин, должна была казаться невыносимой мысль, что то или другое чувство, так страстно переживаемое им, быть может, много лет, что замысел, лелеемый им, как святыня, с его плотской смертью угаснут сразу и бесследно; и мы видели, как сжималось его сердце каждый раз, когда эта мысль представала его уму. Но легко понять также, что она могла пугать его только в минуты душевной вялости, какие посещают каждого человека. Бодрствующий или возбужденный, обуреваемый каким либо чувством или в часы вдохновения, он, естественно, ощущал, как реальность, самое это чувство или творческую идею свою, а ту мысль о неминуемом угасании всякого чувства

в смерти, — хотя она и стояла в сознании, ощущал, конечно, как нечто призрачное, как алгебраическую формулу, о которой знаешь, что она верна, но помнишь ее равнодушно. Так Пушкин в возбужденном состоянии совершенно забывал закон смерти, словно никогда не знал его, словно не терзался им столько раз.

И вот оказывается, что небольшому числу отрицательных заявлений, которые приведены выше, противостоит в поэзии Пушкина такое подавляющее количество заявлений положительных, что первые кажутся только редкими прорехами в сплошной ткани последних. Пушкин даже не заботится утверждать личное бессмертие: таких мест у него два — три; он просто *исходит из аксиомы* о личном бессмертии, эта аксиома составляет как бы невидимый, незыблемый в его уме фундамент, на котором он воздвигает свои художественные образы, — до такой степени его дух в глубине не затронут сомнением! Больше того: его вера (если такое беззаветное знание еще можно называть верою) настолько полна живых соков, что, к изумлению зрителя, расцветает конкретными подробностями; мы увидим ниже, что он не только изображал посмертное явление теней, но даже умел рассказать кое-что об их внешнем виде и склонностях.

Сказанное сейчас на первый взгляд покажется, конечно, парадоксом. Можно ли поверить, что Пушкин с его острым и несомненно трезвым умом, образованный человек 19-го века, был предан такому грубому, необузданному мистицизму, верил в существование посмертных призраков и в их сношения с живыми людьми? Без сомнения, говоря о „тенях", он либо выражается метафорически, либо рисует психологическое состояние яркого воспоминания об умершем, подчас действительно близкого к галлюцинации. Так подумает читатель.

Но изъявления Пушкина совсем недвусмысленны: в них нет ни метафорического, ни психологического смысла; не подлежит ни малейшему сомнению, что он верил в *объективное* существование призраков. Вот «Заклинание», 1830 года, дышащее глубокой грустью и нежностью; можно ли говорить серьезнее? Пушкин вызывает тень умершей, но все еще любимой женщины:

О, если правда, что в ночи,
Когда покоятся живые
И с неба лунные лучи
Скользят на камни гробовые,
О, если правда, что тогда
Пустеют тихие могилы —
Я тень зову, я жду Леилы:
Ко мне, мой друг, сюда, сюда!

Явись, возлюбленная тень,
Как ты была перед разлукой,
Бледна, хладна, как зимний день,
Искажена последней мукой.
Приди, как дальная звезда,
Как легкий звук, как дуновенье,
Иль как ужасное виденье, —
Мне все равно: сюда, сюда!

Он начинает нетвердо, но его сомнение длится лишь миг; или оно — только формальная оговорка? Ведь с первых слов чувствуется, что он верит, — и так беззаветно звучит его страстный призыв: „Ко мне, мой друг, сюда, сюда!“

Он пишет вполне положительно, как бы о вещи естественной и всем известной:

...Но и в дали, в краю чужом,
Я буду мыслию всегдашней
Бродить Тригорского кругом,
В лугах, у речки, над холмом,
В саду, под сенью лип домашней.
Когда померкнет ясный день,
Одна, из глубины могильной,
Так иногда в родную сень
Летит тоскующая тень
На милых бросить взор умильный.

(П. А. Осиповой, 1825 г.).

Он говорит («На смерть Ризнич», 1825 г.):

Под небом голубым страны своей родной
Она томилась, увядала,
Увяла, наконец, и верно надо мной
Младая тень уже летала.

Тень для него — не умственный образ, а реальное существо, слышащее и чувствующее.

Меж тем, как изумленный мир
На урну Байрона взирает
И хору Европейских лир
Близ Данте тень его внимает,
Зовет меня другая тень,
Давно без песен и рыданий
С кровавой плахи в дни страданий
Сошедшая в могильну сень.
Певцу любви, дубрав и мира,
Певцу возвышенной мечты
Звучит незнаемая лира,
Пою. Мне внемлет он и ты.

(Андрей Шенье, 1825 г).

Стихотворение посвящено Н. Н. Раевскому. Итак, Пушкина слушают двое: тень Шенье и живой Раевский; положительнее нельзя выразиться. Такой же объективный и конкретный образ нарисован в стихотворении «Баратынскому из Бессарабии», 1822 г.

Еще доныне тень Назона
Дунайских ищет берегов;
Она летит на сладкий зов
Питомцев муз и Аполлона,
И с нею часто при луне
Брожу вдоль берега крутого...

И тот же смысл — в стихах, уже приведенных выше:

Садятся призраки героев
У посвященных им столпов.

Конечно, ничем другим, как именно верою в объективность теней, в их внешнее существование, объясняются многочисленные обращения Пушкина к теням умерших — к тени Овидия, Кутузова и др., особенно «Заклинание» и «Для берегов отчизны дальней», эти страстные воззвания к умершей возлюбленной. Одно из таких обращений, как известно, даже и озаглавлено прямо — «К тени полководца», и всюду конкретность видений доведена почти до осязательности; напомню, кроме цитированного уже «Заклинания», эти стихи из обращения к Кутузову:

Внемли ж и днесь наш верный глас:
Восстань, спасай царя и нас,
О старец грозный. На мгновенье
Явись у двери гробовой —
Явись: вдохни восторг и рвенье
Полкам, оставленным тобой.

Имея пред собою такой длинный ряд определенных и исключающих всякое сомнение фактов, нелегко решить, какой смысл вложен Пушкиным в иные его заявления о тенях, менее ясные, наполовину метафорические. Вот два примера таких неопределенных описаний.

Из «Бахчисарайского фонтана», 1822 г.:

Дыханье роз, фонтанов шум
Влекли к невольному забвенью,
Невольно предавался ум
Неизъяснимому волненью,
И по дворцу летучей тенью
Мелькала дева предо мной...
. . . .

Чью тень, о други, видел я?
Скажите мне, чей образ нежный
Тогда преследовал меня,
Неотразимый, неизбежный?
Марии ль чистая душа
Явилась мне, или Зарема
Носилась, ревностью дыша,
Средь опустелого гарема?

Еще ближе, кажется, к чистой психологической метафоре следующее изображение (Воспоминание, 1828 г.)

И нет отрады мне — и тихо предо мной
Встают два призрака младые,
Две тени милые — два данные судьбой
Мне ангела во дни былые,
Но оба с крыльями и с пламенным мечем,
И стерегут... и мстят мне оба,
И оба говорят мне мертвым языком
О тайнах счастия и гроба.

Может быть, Пушкин и сам не сумел бы ответить, что он разумел в том и другом отрывке: воплощенные ли души Марии и Заремы и двух женщин, когда то любимых им, или их умопостигаемые образы?

Во всяком случае, представление о загробном воплощении души в тень или призрак до такой степени укоренилось в уме Пушкина, что он сплошь и рядом прибегал к этому образу. Для него было естественно вложить в уста Самозванца такую речь:

Тень Грозного меня усыновила,
Димитрием из гроба нарекла,
и т. д.

— и в уста Скупого рыцаря свой вздох, свои слова:

О, если б из могилы
Прийти я мог, сторожевою тенью
Сидеть на сундуке и от живых
Сокровища мои хранить, как ныне.

В переводе из Анакреона он пишет:

Тартар тени ждет моей,

чего нет ни у Анакреона, ни верно в том подлиннике, с которого он переводил. А. Шенье говорит у него:

Но, тень мою любя,
Храните рукопись, о други, для себя.

Умерший Дельвиг для него —

... в толпу теней родных
Навек от нас ушедший гений, —

об умершем Наполеоне он говорит:

Да будет омрачен позором
Тот малодушный, кто в сей день
Безумным возмутит укором
Его развенчанную тень,

и даже в прозе, в журнальной заметке, называет свои стихи о Барклае де Толли „недостойными великой тени". Даже цветок, увядая, оставляет по себе свою тень:

Лишь розы увядают,
Амврозией дыша,
В Элизий улетает
Их легкая душа,
И там, где волны сонны
Забвение несут,
Их тени благовонны
Над Летою цветут. (1825 г.).

И во всех этих местах он, может быть, уже безотчетно, рисует тень, как реальное существо: тень сидит на сундуке, тень входит в Тартар, тени собираются толпой, тень можно возмутить, тень розы цветет и благоухает и т. п. Каждое из этих мест в отдельности легко принять за метафору, но общий смысл изречений Пушкина решительно противоречит такому толкованию. Наконец, вполне уясняется дело, если ближе рассмотреть тот образ, который Пушкин неизменно обозначает словом „тень".

Первое же, самое беглое наблюдение над этим образом поражает неожиданностью, при том двойною. В нем нет ни одной оригинальной черты, ни малейших следов личного творчества. Представление Пушкина о загробной жизни в целом и в частях насквозь традиционно или, вернее, атавистично; именно так рисовал себе загробную жизнь человек каменного века, так верят и теперь дикари в глубине Африки и Австралии. Можно подумать, что Пушкин узнал этот образ из этнографических книг и присвоил его себе. Но нет: его представление о загробной жизни проникнуто таким живым чувством, оно так органически цельно и стройно в своих частях, и чертит он этот образ в своих стихах так уверенно и четко, что не может быть сомнения: в недрах его собственного духа родилось видение „тени", и что̀ он умел рассказать о ней, он сам узнал, точно видел своими глазами.

А рассказывает он следующее.

1. В самый миг смерти из умершего человека исходит его тень — существо нематериальное или материальное только в малой степени, — и вместе с трупом переходит в могилу, где впредь и обитает во веки. Так, о тени Шенье Пушкин говорит:

С кровавой плахи в дни страданий
Сошедшая в могильну сень,

и вторично (в черновой рукописи):

Моя младая тень
От плахи... отлетит... без песен, без рыданий.
Ее в подземну сень
Проводят ярый смех и гром рукоплесканий.

Так и тень Кутузова живет в его гробу, Суворов видит плен Варшавы, „восстав из гроба своего“; в стихотворении «П. А. Осиповой» тень летит на землю „из глубины могильной, и в «Заклинании» говорится о пустеющих ночью могилах, откуда тени улетают навещать милых на земле. С необыкновенной смелостью Пушкин говорит, обращаясь к тени Кутузова: „Явись у двери гробовой“. То же говорит Пушкин и в отрицательной форме, например, о Ленском:

из могилы
Не вышла в сей печальный день
Его ревнующая тень,

в стихотворении «Гроб юноши»:

Ничто его не вызывает
Из тихой сени гробовой, и т. п.

2. Внешний и духовный облик личности целиком сохраняется в тени. Пушкин не раз называет тень молодою: в «Воспоминании» — „два призрака младые“, в «Андрее Шенье» — „моя младая тень“, в элегии «На смерть Ризнич» — „младая тень“; тень Наполеона названа развенчанной, тень Ризнич — легковерной. Да тень и есть не что иное, как личность человека, покинувшая тело и облекшаяся в другой, невещественный вид. Те самые чувства и мысли, которые волновали человека при жизни, одушевляют его тень, и они не остаются в ней неизменными, но сохраняют всю пластичность и подвижность прижизненных душевных движений. Дело в том, что, восприняв от живой личности все ее чувства и помыслы, тень через них сохраняет связь с их земными объектами; поэтому, как и в живом человеке, каждое изменение земного объекта

влечет за собою в тени изменение соответственного чувства или помысла. Тень видит, слышит и знает все на земле, что входит в круг ее чувства, и, смотря по тому, что там совершается, она ликует, скорбит, чувствует обиду или ревность и т. п. Ленский за гробом ревнует изменницу — Ольгу („Его ревнующая тень“), тень Заремы, „ревностью дыша“, носится по опустелому дворцу, тени тоскуют по оставленным на земле («П. А. Осиповой»), тень признательна за память о ней («К Овидию»), несправедливый укор возмутил бы тень Наполеона; тень поэта Петрова гордится Мордвиновым: „Тобой гордится он и на брегах Коцита“.

Восстав из гроба своего,
Суворов видит плен Варшавы;
Вострепетала тень его
От блеска им начатой славы.

Словом, тень чувствует так же, как живой человек, и так же, как он, через свое чувство связана с миром живых существ.

3. Мало того: она умеет и сообщаться с этим миром, куда чувство, разумеется, неодолимо влечет ее. Она летает на землю (это выражение повторяется у Пушкина много раз); на земле она либо скользит (тень Овидия), либо носится, т. е. реет (тень Заремы). Летит она туда, куда ее влечет воспоминание, призыв живых и т. п. Тень Ризнич летает над некогда любившим ее поэтом:

Увяла наконец, и верно надо мной
Младая тень уже летала;

призраки героев садятся у посвященных им столпов.

Когда померкнет ясный день,
Одна, из глубины могильной,
Так иногда в родную сень
Летит тоскующая тень
На милых бросить взор умильный.

(П. А. Осиповой).

Еще доныне тень Назона
Дунайских ищет берегов;
Она летит на сладкий зов
Питомцев муз и Аполлона,
И с нею часто при луне
Брожу вдоль берега крутого...

(Баратынскому из Бессарабии).

Но если, обо мне потомок поздний мой
Узнав, придет искать в стране сей отдаленной
Близ праха славного мой след уединенной:
Брегов забвения оставя хладну сень,
К нему слетит моя признательная тень,
И будет мило мне его воспоминанье

(К Овидию).

Шенье говорит своим друзьям: после моей смерти, когда собравшись в кружок, вы будете читать мои стихи,—

я, забыв могильный сон,
Взойду невидимо и сяду между вами,
И сам заслушаюсь, и вашими слезами
Упьюсь... И, может-быть, утешен буду я
Любовью. Может-быть и Узница моя,
и т. д.

4. Как явствует из этих выдержек, тени, по мысли Пушкина, могут прилетать на землю во всякое время; но всего охотнее они выходят из могил ночью и при луне:

в ночи,
Когда покоятся живые
И с неба лунные лучи
Скользят на камни гробовые («Заклинание», сравн. «Баратынскому из Бессарабии», и др.).

5. Тень может оставаться невидимой для живых (как тень Шенье в кругу друзей), но она может и воочию являться тому, кого посещает, при чем она носит либо тот облик, какой носила при жизни, либо какой-нибудь другой. Она может являться человеку и не в человеческом образе, а в виде звезды, звука и т. п. Так в «Заклинании»:

Явись, возлюбленная тень,
Как ты была перед разлукой,
Бледна, хладна, как зимний день,
Искажена последней мукой.
Приди, как дальняя звезда,
Как легкий звук, как дуновенье,
Иль как ужасное виденье...

В отрывке 1823 г. «Недвижный страж дремал на царственном пороге» Пушкин единственный раз наглядно изобразил явление тени живому человеку.

Он рек — и некий дух повеял невидимо,
Повеял и затих, и вновь повеял мимо.
Владыку севера мгновенный хлад объял;
На царственный порог вперил, смутясь, он очи —
Раздался бой полночи —
И се внезапный гость в чертог Царя предстал.

Наполеон является Александру I не одряхлевшим, с ранней сединою и потускневшим взором, каким он был перед смертью, — нет:

Во цвете здравия, и мужества, и мощи
Владыке полунощи
Владыка запада грозящий предстоял.

В другой раз Пушкин нарисовал такой же образ в шутку, — но и это характерно для него; я разумею послание к Ден. Давыдову, где под конец, вспомнив о покойном гусаре Бурцеве, известном забулдыге, Пушкин говорит:

И вдруг растрепанную тень
Я вижу прямо пред собою:
Пьяна — как в самый смерти день,
Столбом усы, виски горою,
Жестокий ментик за спиною
И кивер зверски на бекрень.

6. Еще ступенью выше в смысле конкретности стоит тот образ, который нарисован в стихотворении «Для берегов отчизны дальней». В час разлуки любимая женщина утешала его надеждой на будущее свидание, когда они вновь соединят лобзание любви; но в разлуке она умерла — ее обещание осталось невыполненным. Но связь между ними не порвана:

Твоя краса, твои страданья
Исчезли в урне гробовой —
Исчез и поцелуй свиданья...
Но жду его: он за тобой!

Что хотел сказать Пушкин этими загадочными стихами? То ли, что он еще при жизни ждет поцелуя тени? — Это вполне соответствовало бы его представлению. Или еще смелее — что он после смерти встретится с нею, и тень сольется с тенью в поцелуе? Ясно одно: ждать о т т е н и обещанного поцелуя мог только человек, беззаветно веривший не только в личное бессмертие, но и в известную воплощенность загробного существования.

7. Пушкину оставалось сделать еще только один шаг, чтобы довести воплощенность тени до наивысшего предела. Раз личность в загробном состоянии продолжают волновать ее прижизненные чувства, связывающие ее с земными объектами, естественно, что она и оттуда стремится в о з д е й с т в о в а т ь на земные дела сообразно со своим чувством; и так как, по мысли Пушкина, она за гробом реально существует в виде тени, подобно живым существам, облеченным в более плотное вещество тела, то он неизбежно должен был

допустить и фактическую возможность такого вмешательства. Было естественно предположить, что тень, доведенная до крайнего возбуждения зрелищем земного происшествия, больно ранящего ее чувство, ринется на землю и **делом**, т. е. более или менее осязательно остережет или покарает своего обидчика. Мы видели, что мысль Пушкина о загробной жизни все время вращалась вокруг этой точки; из нее он исходил в своих отрицательных утверждениях: тень мужа должна была бы придти наказать изменившую ему молодую вдову, тень Ленского должна была бы придти напугать изменницу — Ольгу и ее мужа в их брачную ночь, тень барона должна была бы заступиться за кости барона, ухватив святотатца за ворот или погрозив ему костяным кулаком. И, наоборот, только в этой точке могла найти себе завершение и положительная вера Пушкина. Его отрицательное рассуждение исходило от факта: знаю, что муж, Ленский и барон не пришли с того света и не вмешались активно в земные дела, так явно касавшиеся их; следовательно, загробная жизнь личности есть пустой вымысел. Напротив, здесь он от веры приходил к факту: знаю, что личность остается за гробом живою и неизменною; следовательно, она неизбежно и стремится, и действует, когда чувство влечет ее к действию.

Мы видели также, как близко Пушкин в ряду своих положительных утверждений подошел уже к этому пределу. Он говорил нам о тенях летающих, скользящих, сидящих на земле, о тени, стоящей в дверях гробницы, наконец, даже о любовной ласке, которую дарит тень. От поцелуя до всякого другого физического действия оставался небольшой шаг. Но если и все эти положительные изображения перед судом холодного разума являлись бредом и безумием, тем безумнее должно было показаться повествование о тени действующей; и Пушкин замаскировал свой рассказ, чтобы заранее изъять его из под судимости. Я говорю о „Каменном госте“, где, прикрывшись средневековой легендой, он, наконец, насытил свое чувство, воплотил то предельное чаяние, которым пламенел его дух столько лет, — представил тень действующей. В образе командора, мстящего гибелью своему обидчику, воскрешены за гробом и Ленский, и барон, — воскрешен за гробом вообще человек и незыблемо утверждена вера в бессмертие личности. Этот образ — положительный полюс мысли Пушкина, как образы „юноши“, мужа молодой вдовы, умершего Ленского и барона — ее отрицательный полюс.

Но в эту самую минуту, когда положительная вера Пушкина достигла своей вершины, ее единокровный враг — его неверие, — разразился ей в лицо дьявольским хохотом. Едва

ли в летописях поэзии найдется еще другой пример такой злой, такой беспощадной автопародии, как «Каменный гость» и сочиненный одновременно с ним «Гробовщик», потому что они написаны на одну и ту же тему и, в пределах этой темы, умышленно по одному плану [1]).

Дон Жуан

(статуе). Я, командор, прошу тебя прийти
К твоей вдове, где завтра буду я,
И стать у двери на часах.

„А созову я тех, на которых работаю мертвецов православных... Ей-богу, созову“, продолжал Адриан: „и на завтрашний же день. Милости просим, мои благодетели, завтра вечером у меня попировать; угощу чем бог послал“.

Статуя

Я на зов явился.

„Видишь ли, Прохоров“, сказал бригадир от имени всей честной компании, „все мы поднялись на твое приглашение“...

Какую страшную душевную муку должен переживать за гробом командор! Что обида барона или загробная ревность Ленского! Видеть свою жену в объятиях другого — в объятиях своего убийцы — и знающей, кого она обнимает: вот пытка двойная, тройная. Здесь ревность, обида и жажда мести, слившись в одно пламя, гонят душу так яростно, что она, как конь, язвимый шпорами, перескакивает чрез предел — из царства теней в мир вещественный, и реально действует среди живых, уводит Дон-Жуана в преисподнюю. Здесь огненная мука разверзает могилу и загробный выходец подлинно жив. В «Гробовщике» ожившие мертвецы лишь мерещатся пьяному сновидению по пьяной прихоти наяву. И как осязательно, как ярко Пушкин изображает их мнимый приход, этот смешной сон пьяного гробовщика, danse macabre в карикатуре! Точно какая то сила подстрекала его злее, как можно злее высмеять свою пламенную веру, представить в наиболее комическом и пошлом виде небытие и пустоту того образа, который он так страстно лелеял, — образа **живой тени**. Что более всего утешало его

[1]) Они оба написаны осенью 1830 года, когда Пушкин, в связи с жгучими воспоминаниями о той умершей женщине, чей образ внушил ему тогда же „Заклинание“ и „Для берегов отчизны дальней“, так много углублялся мыслью в „тайны гроба роковые“. Конец „Гробовщика“ датирован 9-м сентября, конец „Каменного гостя“ — 1-м ноября. Но „Каменный гость“ был именно только закончен в эти дни, а задуман и начат, как известно, гораздо раньше, еще до марта 1828 года.

в земных невзгодах, то он кинул в грязь и злорадно топчет ногами. Не мстил ли он себе за самую потребность в загробном утешении? не устыдился ли на минуту своей трусости пред беспощадной правдою смерти? Но и здесь — какая смелость мысли!

Мне остается подвести итог рассказанному. Перед нами странное зрелище: на протяжении многих лет Пушкин высказывает вперемежку два противоположных утверждения о загробной жизни. Читатель спросит, как и я сам спросил себя: возможно ли, чтобы разумный человек на один и тот же вопрос отвечал — и не раз — то „да", то „нет?" Либо Пушкин верил в загробное переживание личности, либо нет; но как он мог в одно и то же время с равной убежденностью и верить и неверить?

На это недоумение я отвечу: человеческие „да" и „нет" не всегда исключают друг друга, но подчас и живут вместе. „Да" и „нет" Пушкина были подобны двум линиям, проведенным в разных плоскостях, и потому не пересекающимся. Его „нет" представляло собою утверждение о факте. Оно говорило: человеческий опыт не знает никаких признаков загробного существования; никто никогда не видел тени умершего, никогда умерший не давал о себе знать в земных делах; поэтому нет никаких оснований думать, что личность остается живою за гробом. Это был приговор той инстанции, которая обобщает и ведает весь наш чувственный опыт, т.-е. всю эмпирическую действительность. Против этого приговора, разумеется, нельзя спорить, — в своей узкой сфере он неопровержим. Совершенно иной и несравненно сложнейший ход мышления привел Пушкина к его положительному утверждению. Человечество всегда верило в загробную жизнь и на своем длинном пути создало бесчисленные догадки о формах ее; и все эти образы, от грубейших до наиболее духовных, имели предметом и целью, конечно, не объективную истину, потому что и дикий человек понимал, что о загробной жизни мы не можем узнать ничего достоверного: эти верования имели своим предметом не загробную, но живую жизнь, они диктовались нуждами живого человека. Пушкинское „да" родилось из такой же нужды. Мы видели: мысль о смерти предстала ему первоначально как вопрос о реальности, о подлинности, о смысле чувств и дум, обуревающих его здесь, живого. Одно из двух: если в смерти личность исчезает бесследно, если самое могучее чувство, волнующее меня сейчас, неминуемо будет смертью погашено, то мысль о его брен-

ности парализует меня сейчас, в самый миг его переживания. Именно так рассуждал Пушкин. Ему не было никакого дела до загробной тайны, но для него было в высшей степени важно осмыслить свою текущую, свою ежедневную жизнь в ее неразрывной связи с фактом предстоящей смерти. И так как его чувства были страстны, т. е. каждое в данную минуту утверждало себя с беспрекословной уверенностью, то его выбор был предрешен: он должен был освятить и укрепить свою стихийную душевную жизнь верою в ее бесконечную длительность. Иначе он не мог бы жить, — он был бы разорван надвое между необузданным самоутверждением своего чувства и безверием, в корне подрывающим это самоутверждение. Итак, „нет“ и „да“ Пушкина были разнородны: там умозаключение из данных опыта, здесь умозаключение из потребностей воли. Там бесстрастно звучало: „загробной жизни нет“, здесь страстный голос упорно твердил: „хочу, чтобы личность переживала смерть, верю в бессмертие личности, — не могу не хотеть и не верить“.

Отсюда начался у Пушкина обычный, даже неизбежный процесс воплощения веры. Вера всегда рождается из воли в виде отвлеченного утверждения, но никогда не остается им: с самой минуты ее рождения в духе начинается ее преображение. Сказано: „вера без дел мертва“; с таким же правом можно сказать: „вера без образа мертва“, потому что догмат веры не иначе наполняет душу, как облекшись в конкретные образы, как бы зерно ее, пав в воображение, родит в нем и организует фантастический мир или фантастическое существо, в основе их бытия совершенно отличные от внешней действительности, даже противоположные ей, но в конструкции и в механизме движений точно следующие ее законам. Так вера Пушкина облеклась в образ тени. Раз начавшись, этот процесс воплощения не может остановиться, пока не дойдет до конца, т. е. пока не придаст тому фантастическому образу всех признаков конкретности до полного уподобления предметному миру. Только в этой полноте образ веры действительно наполняет душу: он стал объективным, он мнимо-доступен восприятию всех внешних органов чувства, как любая вещь; он стал достоверным, как все, что мы видим и осязаем. Отвлеченное верование Пушкина: „личность жива и за гробом“ облеклось в образ тени, и этот образ, постепенно наполняясь жизнью, наконец, совершенно уподобился плотскому существу, живому человеку: тень чувствует, ходит, целует и действует.

Но в этой конечной точке вера снова оказывается лицом к лицу с действительностью, от которой она в начале отделилась.

Этой чувственно-воспринимаемой действительности теперь противостоит другая, тоже — только иначе — воспринимаемая действительность. Та не дает никаких показаний о тенях, в этой тени живут и действуют. Казалось бы, человек, находящийся в здравом уме, должен во что бы то ни стало сделать выбор — признать подлинною либо ту, либо другую. Внешний опыт неопровержимо свидетельствует, что все люди умирают; вера утверждает, что некогда был человек, который так и не умер, но жив поныне и будет жить вечно. Опыт убеждал Пушкина, что смерть разрушает не только тело, но и самую личность человека; вера упорно твердила ему, что личность остается живою после телесной смерти. Такие противоположности могут ли уживаться в сознании? Но таков всеобщий закон человеческого духа: вера и эмпиризм не только всегда сосуществуют, но даже и не могут существовать друг без друга, как в живом существе душа без тела или тело без души. Как видно, человек, хотя и бессознательно, но твердо знает, что у него есть два воспринимающих аппарата и, следовательно, два опыта, два познания: познание грубо-чувственное, в котором учтены лишь внешние движения вещей, и познание высшее и целостное, основанное на показаниях общего, несравнено более чуткого восприятия. Оттого он и верит эмпиризму, и не верит, руководствуется им в своей внешней и частичной деятельности, но и знает его целостную ложь и в душе противопоставляет его лживому образу мира иной образ мира, знаемый тайно, как подлинная действительность. И для Пушкина его „нет" и „да" в вопросе о загробной жизни были не двумя исключающими друг друга положениями, но двумя истинами разного качества: одна — истиной рассудка, другая — истиной духа.

Так же двойственно, но с более ясным самосознанием и определеннее, чем Пушкин, думал о загробной жизни Гете. 19 октября 1823 г. он сказал канцлеру Мюллеру: „Для мыслящего существа совершенно невозможно представить себе небытие, прекращение мышления и жизни; постольку каждый носит в самом себе доказательство бессмертия, при том непроизвольно. Но лишь только человек захочет объективно выступить из себя и догматически доказать или понять продолжение личного существования за гробом, лишь только вздумает облечь то внутреннее восприятие в филистерский наряд, — он тотчас запутывается в противоречиях. И все же человека всегда влечет сочетать невозможное. Почти все законы — синтезы невозможного; например, институт брака. И это — благо, потому что только постулируя невозможное, он способен достигать наивозможного".

В этом умозрении Пушкина более всего поражает одна черта: его жажда именно личного бессмертия. Так называемое бессмертие души, т. е. безличное бессмертие, нисколько не интересовало его; повидимому, он приравнивал его к полному угашению жизни. Я не знаю в творчестве и в мировоззрении Пушкина ничего, что в такой степени характеризовало бы его, как эта черта: самоутверждение своей личности, какова она есть.

Сны Пушкина

Пушкин рано заметил загадочное явление сонной грезы и на протяжении лет, как увидим, временами пристально размышлял о нем. В своих произведениях, начиная с «Руслана и Людмилы» 1817-1819 г.г., кончая «Капитанской дочкой» 1833 года, он изобразил пять сновидений. Собрав их вместе и внимательно рассмотрев, можно до некоторой степени уяснить себе общую мысль Пушкина о сновидении, если только у него сложилась такая единая мысль, или, по крайней мере, узнать характер и причины его интереса к этому явлению. В делах такого рода надо больше всего остерегаться поспешных обобщений; поэтому я разберу каждый случай отдельно, как если бы он был единственным, и только в конце попытаюсь соединить свои наблюдения в один итог, насколько это окажется возможным.

1. Сон Руслана. — Руслан уже убил своего соперника Рогдая, нашел Людмилу и везет ее сонную в Киев, где, по обещанию добродетельного Финна, она проснется. После стольких треволнений его цель достигнута; казалось бы, он должен быть счастлив. Может быть, его смутно тревожит мысль о другом его сопернике, Фарлафе, который одновременно с ним выехал на поиски Людмилы и теперь находится неизвестно где? Фарлаф труслив и коварен; возможно, что Руслан бессознательно ждет и боится вероломства с его стороны. Ночью, спешившись под курганом, сняв с седла спящую Людмилу, Руслан сидит в задумчивости; дремота понемногу одолевает его; наконец он уснул.

И снится вещий сон герою.
Он видит, будто бы княжна
Над страшной бездны глубиною
Стоит недвижна и бледна...
И вдруг Людмила исчезает,
Стоит один над бездной он...
Знакомый глас, призывный стон
Из тихой бездны вылетает...

Руслан стремится за женой
Стремглав летит во тьме глубокой...
И видит вдруг перед собой:
Владимир в гриднице высокой,
В кругу седых богатырей,
Между двенадцатью сынами,
С толпою названных гостей,
Сидит за браными столами.
И так же гневен старый князь,
Как в день ужасный расставанья;
И все сидят не шевелясь,
Не смея перервать молчанья.
Утих веселый шум гостей.
Не ходит чаша круговая...
И видит он среди гостей
В бою сраженного Рогдая:
Убитый, как живой, сидит;
Из опененного стакана
Он, весел, пьет и не глядит
На изумленного Руслана.
Князь видит и младого хана,
Друзей и недругов... и вдруг
Раздался гуслей беглый звук
И голос вещего Баяна,
Певца героев и забав.
Вступает в гридницу Фарлаф,
Ведет он за руку Людмилу;
Но старец, с места не привстав,
Молчит, склонив главу унылу;
Князья, бояре — все молчат,
Душевные движенья кроя.
И все исчезло —; смертный хлад
Об'емлет спящего героя.

Сон явно распадается на две части. Первая часть его: падение Людмилы в бездну, ее призывный стон оттуда и устремление Руслана ей во след есть — несомненно отражение пережитых Русланом тревог, его ужаса при исчезновении Людмилы, долгого страха за нее, неизвестности, поисков. Но вторая половина сна есть предвидение и пророчество: ведь Фарлаф действительно в эту же ночь похищает у него Людмилу и увозит ее в Киев. Сон почти полностью осуществляется на деле; только во сне Фарлаф при звуках Баяновой песни вводит Людмилу за руку в гридницу Владимира,— в действительности он внесет ее, спящую на руках, и Баяна не будет там; но, как и во сне, появление Фарлафа с Людмилой не обрадует ни Владимира, ни его гостей, — все останутся погруженными в уныние. Даже предположив в Руслане тот безотчетный страх пред Фарлафом, такое точное предвидение фактов остается загадкой.

2. Сон Марьи Гавриловны в «Метели». — Пушкин не даром снабдил этот рассказ эпиграфом из Жуковского, где

есть стих: „Вещий сон гласит печаль!“ В ночь перед бегством Марье Гавриловне снится сон. С вечера она не ложилась — укладывала вещи и писала письма. Легко представить себе ее душевное состояние в эту ночь. Она готовится совершить страшное преступление против родителей, да и сама, конечно, пугается своего поступка и неизвестной будущности, ожидающей ее за порогом родного дома. Этих мыслей достаточно, чтобы объяснить ее первый сон. Перед рассветом она бросилась на постель и задремала; „но и тут ужасные мечтания поминутно ее пробуждали. То казалось ей, что в самую минуту, как она садилась в сани, чтоб ехать венчаться, отец ее останавливал ее, с мучительной быстротой тащил ее по снегу и бросал в темное, бездонное подземелье... и она летела стремглав с неизъяснимым замиранием сердца“. Этот сон, конечно, не более, как образ и воплощение тревожных чувств Марьи Гавриловны, ее страхов и угрызений совести. Но как понять ее второе сновидение? „То видела она Владимира, лежавшего на траве, бледного, окровавленного. Он, умирая, молил ее пронзительным голосом поспешить с ним обвенчаться“. Психологическими мотивами этого сна нельзя объяснить. Положим, Марья Гавриловна втайне знает ненадежность своего возлюбленного. Владимир, конечно, не герой, он — бледная личность; Марья Гавриловна могла давно, не давая себе отчета, почувствовать в его фигуре, в глазах, в звуках его голоса — роковую обреченность, судьбу неудачника. За всем тем в ее сновидении остается неразгаданное ядро: предвидение насильственной смерти Владимира. Надо обратить внимание на одну подробность в изложении обоих снов, которой нельзя объяснить оплошностью автора. Пушкин писал обдуманно и тщательно. Действие рассказа происходит, как известно, зимою; и в первом сновидении Марьи Гавриловны, о гневе ее отца, правильно упоминаются сани и снег; очевидно, этот сон непосредственно продолжает сознательное, согласное с действительностью, мышление Марьи Гавриловны. Напротив, ее второй сон, о смерти Владимира, явно чужд ее сознанию и оторван от действительности: она видит Владимира лежащим *на траве*. Едва ли можно сомневаться, что этому второму сновидению Пушкин умышленно придал смысл фактического предвидения; из дальнейшего мы узнаем, что вскоре после той роковой ночи Владимир был смертельно ранен под Бородиным, 26 августа, т. е. вероятно в самом деле „лежал *на траве*, бледный и окровавленный“, как заранее приснилось Марье Гавриловне.

3. *Сон Гринева*. — Шестнадцатилетний Гринев едет в Оренбург, чтобы определиться на службу. В Симбирске, на

постоялом дворе, он проиграл большую для него сумму денег и в довершение напился пьян. С неспокойной совестью, мучимый раскаяньем, он выезжает из Симбирска; конечно, вспоминает своего строгого отца, представляет себе его гнев и огорчение. К вечеру в степи путников застигает буран; сбившись с дороги, они беспомощно ждут среди вьюжной мглы, когда невдалеке показывается прохожий. Они окликают его; в темноте его нельзя разглядеть; в разговоре Гринев успевает только заметить, что мужик умен, хладнокровен, решителен; по крайней мере Гринев сознает только эти свои наблюдения, хотя бессознательно он уловил, как увидим, и многие другие черты незнакомца. Прохожий берется довезти их до жилья, садится на облучок, и кибитка трогает. Дальше Гринев рассказывает так:

„Я опустил цыновку, закутался в шубу и задремал, убаюканный пением бури и качкою тихой езды.

„Мне приснился сон, которого никогда не мог я позабыть и в котором до сих пор вижу нечто пророческое, когда соображаю с ним странные обстоятельства моей жизни. Читатель извинит меня, ибо, вероятно, знает по опыту, как сродно человеку предаваться суеверию, несмотря на всевозможное презрение к предразсудкам.

„Я находился в том состоянии чувств и души, когда существенность, уступая мечтаниям, сливается с ними в неясных видениях первосония. Мне казалось, буран еще свирепствовал, и мы еще блуждали по снежной пустыне... Вдруг увидел я ворота — и въехал на барский двор нашей усадьбы. Первою мыслью моею было опасение, чтобы батюшка не прогневался на меня за невольное возвращение под кровлю родительскую, и не почел бы его умышленным ослушанием. С беспокойством я выпрыгнул из кибитки и вижу: матушка встречает меня на крыльце с видом глубокого огорчения. „Тише“, говорит она мне: „отец болен, при смерти, и желает с тобою проститься“. Пораженный страхом, я иду за нею в спальню. Вижу комната слабо освещена; у постели стоят люди с печальными лицами. Я тихонько подхожу к постели; матушка приподнимает полог и говорит: „Андрей Петрович, Петруша приехал; он воротился, узнав о твоей болезни; благослови его“. Я стал на колени и устремил глаза мои на больного. Что-ж?... Вместо отца моего вижу, в постели лежит мужик с черной бородою, весело на меня поглядывая. Я в недоумении обратился к матушке, говоря ей: „Что это значит? Это не батюшка. И с какой стати просить благословения мужика?“ — „Все равно, Петруша“, отвечала мне матушка: „это твой посаженный отец; поцелуй у него ручку, и пусть

он тебя благословит". Я не соглашался. Тогда мужик вскочил с постели, выхватил топор из за спины и стал махать во все стороны. Я хотел бежать... и не мог; комната наполнилась мертвыми телами; я спотыкался о тела и скользил в кровавых лужах... Страшный мужик ласково меня кликал, говоря: „Не бойсь, подойди под мое благословение..." Ужас и недоумение овладели мною. И в минуту я проснулся".

И этот сон, как предыдущие два, распадается на две части. Первая — возвращение в родительский дом и болезнь отца — легко могла возникнуть из тех покаянных мыслей молодого Гринева после его безобразного кутежа в Симбирске. Но вторая половина сна — откуда она? Некоторые элементы ее несомненно даны действительностью. Очевидно, молодой Гринев и во мгле метели разглядел особенный блеск глаз и черную бороду Пугачева и почуял в нем, сам не сознавая того, большую и жестокую силу, способность к бунту и безудержный размах. И все же эту вторую часть сна никак нельзя объяснить рационально: она явно содержит в себе пророчество. Никакие наблюдения не могли дать повода Гриневу предвидеть, что этот встречный мужик станет на его глазах зачинщиком многолюдного кровопролития, что среди этого кровопролития он не только не тронет его, Гринева, но неизменно будет ласков с ним, наконец, что он действительно сыграет в отношении его роль посаженного отца, что и то, и другое, и третье, как известно, чудесным образом осуществилось впоследствии.

Из пяти сновидений, изображенных Пушкиным, я умышленно, нарушая хронологический порядок, сопоставил три: сон Руслана, сон Марьи Гавриловны и сон Гринева, потому что все три построены по одному плану. Такое троекратное повторение плана на далеком расстоянии времени (1819—1933) несомненно доказывает, что он был продуман и сознательно усвоен Пушкиным. План этот, как мне кажется, Пушкин наметил в словах Гринева: „...то состояние чувств и души, когда существенность, уступая мечтаниям, сливается с ними в неясных видениях первосония". Очевидно, по мысли Пушкина, сновидение строится из элементов двоякого рода: из восприятий („существенность") и из свободных образов фантазии („мечтания"); и Пушкин различает в сновидении два этапа: сначала восприятия только уступают игре воображения, затем тонут в ней. Именно так построены те три сна. В каждом из них ясно различаются — во-первых, начальная картина, где на сцене — исключительно реальные душевные образы — мысли, чувства, восприятия, непосредственно возникшие из действительности; во сне эти образы являются, конечно,

преображенными: ими уже овладевает, вступая в силу, пробуждающаяся фантазия, или, по терминологии Пушкина, „существенность уступает мечтаниям“, „чувства“ уступают „душе“. И, во вторых, последующая картина, где реальные душевные образы уже поглощены и претворены воображением. Здесь „душа“ творит уже не только формы видения, — она из едва уловимых чувственных восприятий создает грандиозные, полные иной существенности образы. Первая картина — существенность: падение Людмилы в бездну и устремление Руслана вслед за нею; отец силою удерживает Марью Гавриловну от бегства; Гринев застает своего отца при смерти. Вторая картина — мечтания: Руслан видит Фарлафа, входящего с Людмилой в гридницу Владимира; Марья Гавриловна видит своего жениха окровавленным на траве; Гринев видит своего случайного вожатая разбойником и своим посаженным отцом. Последовательность каждой пары картин — точно чудесный перелет из одного мира в другой; и любопытно, что в первых двух сновидениях — Руслана и Марьи Гавриловны — Пушкин изобразил этот переход от чувственного к пророческому в виде столь обычного в сонных грезах ощущения стремительного падения вниз; раздельная черта между обоими видениями Руслана — он „стремглав летит“ в бездну, и в «Метели» Марья Гавриловна „стремглав летит в подземелье „с неизъяснимым замиранием сердца“. Должно быть, Пушкин часто испытывал во сне это чувство быстрого падения.

4. С о н О т р е п ь е в а. — Григорий Отрепьев — пока только послушник в монастыре. По всему изложению Пушкина видно, что в сознании Григория еще нет и зародыша мысли о самозванстве. Но в нем бродят странные чувства. Ничтожнейший из монастырской братии, он мечтает о ратных подвигах, о блеске и славе, и будто тайный голос нашептывает ему, что он вправе притязать на них. Он говорит Пимену, который уж верно был не ровня ему по происхождению:

Как весело провел свою ты младость!
Ты воевал под башнями Казани,
Ты рать Литвы при Шуйском отражал,
Ты видел двор и роскошь Иоанна!
Счастлив! а я от отроческих лет
По келиям скитаюсь, бедный инок!
З а ч е м и м н е н е т е ш и т ь с я в б о я х,
Н е п и р о в а т ь з а ц а р с к о ю т р а п е з о й?

Эта безрассудная мечта — сидеть за царским столом — могла родиться в нем только из органической самоуверенности, из смутного ощущения в себе больших и неиспользованных

сил совсем другого порядка, нежели какими он пробавляется в своем настоящем положении.

Безотчетное самосознание Григория, днем разорванное и затмеваемое действительностью, во сне сгущается и образует плотное ядро: это — завязь сна, который снится Григорию. Сон этот не случаен: Пушкин дважды указывает, что он снится Григорию уже в третий раз; очевидно, сама воля настойчиво расцветает этим ночным цветком. Вот сон Григория.

Мне снилося, что лестница крутая
Меня вела на башню; с высоты
Мне виделась Москва, что муравейник;
Внизу народ на площади кипел
И на меня указывал со смехом.
И стыдно мне, и страшно становилось, —
И, падая стремглав, я пробуждался.

Поистине, вещий сон! В сознании своего врожденного права Григорий предчувствует свое быстрое возвышение; но тут же открывается, что его самоуверенность — неполная, шаткая: он знает безотчетным знанием, что, достигнув вершины, он будет чувствовать себя узурпатором. Наполеон в своих честолюбивых мечтах, конечно, не предвидел себя ни преступным, ни смешным, а Отрепьев заранее слышит смех толпы и предчувствует свой стыд и испуг; и он очень верно соображает, что эта шаткость самодоверия неминуемо погубит его.

Итак, сон Отрепьева по содержанию совершенно психологичен, по форме символичен; в нем нет ничего чудесного, но он окажется пророческим, потому что психологически — верен. Сновидение Отрепьева целиком соткано из внутренних восприятий: он только разоблачает их; и вот характерно для мысли Пушкина, что сознание Отрепьева упорно отказывается признать их, отвергает их, как клевету и навождение. Он называет свой сон „проклятым сном“ и говорит Пимену:

А мой покой бесовское мечтанье
Тревожило, и враг меня мутил.

Так, по мысли Пушкина, сознание слепо на вещи, уже вполне ясные бессознательному разуму.

5. Наиболее тщательно обработан Пушкиным и наиболее подробно изложен сон Татьяны в «Онегине»; Пушкин не пожалел на него целых десяти строф, точнее — 145 стихов.

Весь «Евгений Онегин» — как ряд открытых светлых комнат, по которым мы свободно ходим и разглядываем все, что в них есть. Но вот в самой середине здания — тайник;

дверь заперта, мы смотрим в окно — внутри все загадочные вещи; это „сон Татьяны“. И странно: как могли люди столько лет проходить мимо запертой двери, не любопытствуя узнать, что за нею и зачем Пушкин устроил внутри дома это тайнохранилище. Ведь ясно: он спрятал здесь самое ценное, что есть в доме, или, по крайней мере, самое заповедное. Но, может быть, именно глубина замысла и тщательная обдуманность изображения сделала этот сон из всех пяти наиболее трудным для понимания; Пушкин умел, когда хотел, прятать концы в воду. Сон Татьяны несомненно зашифрован в образах; чтобы прочитать его, надо найти ключ шифра; другими словами, надо так полно уразуметь весь сон в целом, чтобы стала понятной каждая отдельная его подробность, как необходимая часть целого. Я не берусь разгадать мысль Пушкина, — быть может, это удастся кому нибудь другому; пока же, за неимением лучшего, изложу то единственное толкование, какое встретилось мне в литературе [1].

Оно находится в крохотной десятикопеечной брошюрке, носящей не по росту и не по праву большое заглавие: „Тайна поэмы А. С. Пушкина «Евгений Онегин»“. Автор брошюрки — С. Судиенко, издана в Твери в 1909 г. О странности ее тона могут дать представление следующие строки из предисловия: сказав об обычном пренебрежительном отношении к снам, автор заявляет, что такое отношение в общем правильно, — „но не всегда. Есть блестящие исключения. Сон библейского фараона, например, спас от голода целое государство, Египет, и послужил одной из причин переселения в это государство израильтян и тем дал толчок всей дальнейшей их истории“. И тут же непосредственно: „Сон Татьяны *тоже* имеет крайне важное значение“. Именно, автор полагает, что в этом сне „заключена в символическом виде загадка поэмы, тайна ее“. Как сейчас видно будет, автор смешивает символику с аллегорией: его толкование — чисто аллегорическое.

Начало сна (Татьяне снится, что она „идет по снеговой поляне, печальной мглой окружена“) объясняется так: Татьяна жила в глухой деревушке, среди тупого и невежественного общества, без единой близкой души, в полном одиночестве; итак, не был ли ее жизненный путь во всем похож на эту

---

[1]) Отмечу, впрочем, еще любопытное сообщение В. Ф. Боцяновского о том, что некоторые черты сна Татьяны — облики чудовищ — заимствованы Пушкиным частью из русской лубочной картины конца XVIII века «Бесы искушают св. Антония», частью из картины Иеронима Босха «Искушение св. Антония», («Незамеченное у Пушкина» в «Вестнике Литературы», 1921 г., № 6—7 (30—31).

картину, видимую ей во сне, „не был ли он так же холоден, как снеговая поляна, от отсутствия согревающей родительской и родственной любви и человеческих отношений знакомых? — и, идя по нем, не была ли она „печальной мглой окружена“?

Далее, бурливый ручей среди сугробов, останавливающий Татьяну, — „это та граница, то пространство, которое разделяет людей между собою и препятствует им вступать во взаимные отношения друг с другом“; он „седой“, т. е. вековечный, „темный“, т. е. таинственный, „кипучий“, потому что сердечное единение, совершающееся через него, немыслимо без кипения страстей, и т. д. Через ручей перекинуты две жердочки, склеенные льдом: эти две жердочки, образующие „дрожащий, гибельный мосток“, — не что иное, как две встречи Татьяны с Онегиным, бывшие до ее сна. Онегин находится по ту сторону ручья и не он помогает Татьяне перебраться: ей помогает перейти через ручей на сторону Онегина медведь, знаменующий с л у ч а й. Именно случай, смерть дяди, забросил Онегина в соседство Татьяны, и случай одновременно вернул в деревню Ленского, который и ввел Онегина в дом Лариных. После свидания с Онегиным в саду будущее затмилось для Татьяны, итти назад, т. е. разлюбить, забыть Онегина, она не может, а вперед дороги нет, впереди — мрак. Так и во сне, перейдя ручей, Татьяна видит перед собой лес, в котором дороги нет; и все же она не возвращается, а вступает в дремучую чащу и мучительно продирается сквозь нее, как мучительно идут ее дни после свидания в саду.

До сих пор сон Татьяны аллегорически изображает прошлое, а с той минуты, как она очутилась у шалаша, он становится пророчеством. Все дальнейшие видения Татьяны: пир Онегина с чудовищами, ее встреча с ним во время этого пира, появление Ольги и Ленского, ссора между Онегиным и Ленским, и смерть Ленского от руки Онегина, — „целиком и почти с буквальной точностью“ выполняются через несколько дней — в день именин Татьяны.

На этом объяснение прерывается: дальше следуют еще только загадочные строки, которыми и кончается брошюрка: „Но это не все. В нем (т. е. во сне Татьяны) заключено еще нечто, если не пророческое, то во всяком случае очень интересное и важное для людей. Это нечто — целая, довольно значительная область человеческого духа, бывшая до Пушкина недостаточно сознанной человечеством. Мыслитель-поэт обстоятельно знакомит нас с этой областью в своей великой поэме «Евгений Онегин» и главным образом во сне Татьяны. Но это достаточный предмет для самостоятельного исследования, и мы займемся им в отдельном труде“. Однако, своего заман-

чивого обещания автор за десять лет не исполнил, и „тайна поэмы А. С. Пушкина «Евгений Онегин» рискует навсегда остаться не разоблаченной.

Что сказать о выдумке Судиенки? Она соблазнительна уже тем, что представляет сон Татьяны как последовательный ряд однородных звеньев, как аллегорию от начала до конца. Другое дело — верна ли она по существу. Другой такой многочленной аллегории мы не имеем в творчестве Пушкина. Во всяком случае, одно из явлений Татьянина сна прозрачно с первого взгляда: в облике чудищ, пирующих с Онегиным в лесном шалаше, Пушкин несомненно изобразил провинциальное общество, всех этих Пустяковых, Петушковых, Гвоздевых, Фляновых, Буяновых, Харликовых, которые потом в подлинном виде наполняют дом Лариных в день именин Татьяны [1]). Возможно, что снежная поляна и мгла кругом действительно изображают глухую, одинокую жизнь Татьяны, что ручей — действительно тот невидимый рубеж, который отделяет ее от широкой и шумной жизни, что две жердочки, склеенные льдом, — ее два свидания с Онегиным, и т. д. Но о таких фактических догадках можно сказать словами древнего Ксенофана:

И если-б кто нам истину открыл, —
То истина иль нет, он знать не мог бы.

Они не принудительны, потому что лишены той непосредственной очевидности, которая одна разрешает загадки.

Но оставим толкование Судиенки. Фабула сна есть только форма; эти фантастические картины и образы, которые Татьяна видит во сне, порождены ее душевным состоянием; ее душевное состояние и есть сущность, сказывающаяся в тех образах. Эта „основа“ сна настолько явственно просвечивает сквозь узор, что по крайней мере ее главные линии нетрудно разглядеть.

Самое существенное во сне Татьяны, — зерно, из которого он вырос, — без сомнения ее любовь к Онегину и ее тайное знание о нем. Она идет по снежной поляне, не сознавая, куда и зачем; то темная воля влечет ее к Онегину, и верное чутье приводит к нему. Она многое знает об Онегине, чего не сознает наяву, и ее сон являет нам эти ее знания в зримых образах. Она знает прежде всего: Онегин — царственная натура, и люди невольно чтут в нем своего властелина; на том бесовском шабаше в лесу чудовища рабски повинуются его мановениям:

---

[1]) См. о «Бесах» в моей книге «Мудрость Пушкина»

Он знак подаст — и все хлопочут;
Он пьет — все пьют и все кричат;
Он засмеется — все хохочут;
Нахмурит брови — все молчат.

Она знает: Онегин знает, что она придет, и уверенно ждет ее: он из-за пиршественного стола „в дверь украдкою глядит“ и, дождавшись наконец, услыхав, что приотворилась дверь, мгновенно идет к ней, „взорами сверкая“, толкает дверь — и грозным криком: „Мое“, т. е. „она моя!“, изгоняет чудищ, чтобы остаться с нею наедине. И дальше грезится ей, что Онегин тихо увлекает ее в угол, слагает на скамью и клонит голову к ней на плечо: столько любви и нежности она знает в его сердце, — к ней! да, к ней! наперекор его холодности наяву и его рассудочным речам. Объяснение в саду предшествовало сну, но Татьяна точно не знает о нем; холодное заявление Онегина, что он не любит ее, прошло мимо нее, — она безотчетным знанием знает другое. Да, они связаны нездешними узами, она была права, когда писала ему:

То в высшем суждено совете,
То воля неба — я твоя.

Его засоренная душа не узнала ее сразу, как она узнала его. („Ты чуть вошел, — я вмиг узнала“); но недаром годы спустя в его сердце вспыхнет запоздалая страсть к ней.

Она знает еще, и это ее знание всего поразительнее: она знает, что в сердце Онегина тлеет ненависть к Ленскому, которая когда-нибудь вспыхнет пожаром. Наяву этого не знает ни она, ни сам Онегин, — о Ленском нечего говорить; между тем в ее чувстве несомненно есть крупица правды. Онегин не может, не должен любить Ленского. Пушкин говорит о них:

Волна и камень,
Стихи и проза, лед и пламень
Не столь различны меж собой;

они стали „от делать нечего друзья“. Онегин по природе „не имеет здесь пребывающего града“, он ненавидит всякую статику, оседлость тела и духа, как болотный застой, ему страшно и подумать о том, чтобы „ограничить свою жизнь домашнимъ кругом“, коснеть в семейном блаженстве. За эту оседлость он и презирает своих соседей-помещиков. Но Ленский хуже их, потому что он — плоть от плоти этого общества, он по духу — тот же Пустяков, Скотинин, Ларин, труп, как они, но подрумяненный молодостью, поэзией, Гёттингенством. Оседлость — его стихия, семейное блаженство — его

мечта; ему „никогда не снились“ рабство и скука семейной жизни —

Мой бедный Ленский! сердцем он
Для оной жизни был рожден.

Оттого он и выбрал Ольгу — по сродству душ, потому что и она „для оной жизни рождена“. И вот прелюдия их будущей жизни: он читает ей нравоучительный роман, — пропуская опасные места, или играет с нею в шахматы, а дома рисует ей в альбом пошлые картинки или „темно и вяло“ пишет любовные элегии. Не таковы ли были в пору сватовства отец и мать Татьяны и Ольги и толстый Пустяков со своей дородной супругой? и разве — все, что́ мы знаем о Ленском, не говорит за то, что, останься он жив, —

Прошли бы юношества лета,
В нем пыл души бы охладел;
Во многом он бы изменился,
Расстался с музами, женился,
В деревне, счастлив и рогат,
Носил бы стеганный халат;
Узнал бы жизнь на самом деле:
Подагру-б в сорок лет имел,
Пил, ел, скучал, толстел, хирел,
И, наконец, в своей постеле
Скончался б посреди детей,
Плаксивых баб и лекарей, —

точь в точь как Дмитрий Ларин, „Господний раб и бригадир“?

Онегин мог „от делать нечего“ коротать часы с Ленским в деревенской глуши, мог даже ласкать его до времени, „сердечно юношу любя“; его подкупали юность, романтизм и Гёттингентство, а поглубже узнать свое чувство к Ленскому мешала лень. Но нет сомнения: в нем возбуждали тошноту и любовные излияния Ленского, и его стихи, и Ольга, и их пресно-приторный роман. В глубине души его давно мутило, может быть даже не раз подмывало спугнуть это пошлое прекраснодушие, — и так человечески-понятно, что в минуту досады на Ленского он дал волю своему злому чувству, — раздразнил Ленского, закружил Ольгу, как мальчишка бросает камешек в воркующих голубей! Это была только мальчишеская выходка, но она имела глубокие корни; вот почему дело сразу приняло такой серьезный оборот. Иначе Онегин не допустил бы дуэли, он, как взрослый, успокоил бы обиженного ребенка; и, даже допустив дуэль, он обратил бы ее в шутку. Но чувство темное, сильное, злое направляло его руку, когда он первый поднял пистолет и выстрелил — не на воздух, а под грудь врагу, т. е. уверенно-смертельно.

Сон Татьяны показывает, что она бессознательно знала это тайное чувство Онегина к Ленскому, неведомое ему самому. Он показывает также, что она бессознательно знала и нечто другое. Во сне она видит Онегина пылким и нежным к ней, их счастье близко; что же внезапно и бесповоротно спугнуло его? Как странно: их счастье спугнуло появление Ольги и Ленского. Напомню последнюю сцену ее сна; положив ее на скамью, Онегин клонит голову к ней на плечо, —

...вдруг Ольга входит,
За нею Ленский, свет блеснул:
Онегин руку замахнул,
И дико он очами бродит,
И незванных гостей бранит:
Татьяна чуть жива лежит.
Спор громче, громче; вдруг Евгений
Хватает длинный нож, и в миг
Повержен Ленский. Страшно тени
Сгустились; нестерпимый крик
Раздался... хижина шатнулась...
И Таня в ужасе проснулась...

Помеха их счастью — Ольга с Ленским, и Онегин убивает Ленского именно за то, что Ленский помешал его счастью с Татьяной: так бессознательно чувствует Татьяна. От Татьяны ни на минуту не укрылось своеобразие Онегина среди окружающих ее людей; он — крылатый и реет в вышине, они все бродят по земле; она и себя мыслит такою же („вообрази: я здесь одна, никто меня не понимает...“) и оттого уверена, что они предназначены друг для друга. И счастье нужно Онегину пламенное, молниеносное, а их мещанское счастье ему ненавистно — в том числе и сладенькое благополучие Ольги с Ленским. Он в ней, в Татьяне, узнал родную душу, и непременно соединился бы с нею, если бы ему не предстоял в эти дни пугающий пример, карикатура того же соединения: пошлый роман Ленского с Ольгой.

И все же во сне Татьяны, как во всех остальных четырех сновидениях, рассмотренных мною, есть предвидение факта, не поддающееся рассудочному толкованию: предвидение убийства Ленского Онегиным. В обстановке Татьяны и в ее мировоззрении убийство и даже дуэль — чудовищные, невероятные события. Глухая вражда может повести к открытому разрыву — но и только. В нормальном состоянии чувств ей никогда не могла бы померещиться такая возможность.

Пять сновидений, изображенных Пушкиным, оказались как бы пятью вариациями одной и той же темы, — до такой степени они совпадают в своих главных чертах. И это основное в них, как легко понять, выходит далеко за пределы сновидения: здесь приоткрывается перед нами общее представление Пушкина о строе и движениях человеческого духа.

Он понимал сон, очевидно, как внутреннее видение души. Едва прекратился приток новых восприятий душа как бы замыкается и остается наедине сама с собой. Она полна накопленных знаний, бесчисленных наблюдений над миром и над самой собою: теперь они все выступают в круг ее созерцания. Человек воспринимает несравненно больше того, что доходит до его сознания; несметные восприятия, тончайшие, едва уловимые, непрерывно западают в душу и скопляются в темных глубинах памяти, как в море не прекращающимся и ровным дождем падают с поверхности на дно микроскопические раковины мертвых инфузорий. Но эти бессознательные знания души не мертвы: они только затаены во время бодрствования; они живы и в сонном сознании — им раздолье. Татьяна знает многое такое об Онегине, Марья Гавриловна — о Владимире, Гринев — о Пугачеве, а Отрепьев — о самом себе, чего они отдаленно не сознают наяву. Из этих то заповедных, тонких знаний, накопленных в опыте, душа созидает сновидения: такова мысль Пушкина.

Он представлял себе сонное творчество души, повидимому, однородным с деятельностью дневного ума. Эти странные знания не разрознены в памяти, не обрывки, не клочья. Они наводняют душу, но душа овладевает ими, координирует их и связывает логически; она во сне соображает, и мыслит, и созидает из того материала стройные образы. Сонные грезы, изображенные Пушкиным, совершенно осмысленны, но логическое рассуждение в них подспудно и невидимо, т. е. обнаруживается уже готовым видением, зримым образом. В самом видении по ходу действия пробегают логические нити; Гринев во сне боится, что отец рассердится за его возвращение, удивляется при виде незнакомого мужика, лежащего в отцовской постели, отказывается целовать у него руку; Татьяна во сне стыдится поднять край платья, приободряется, увидав, что Онегин — хозяин на пире чудовищ, и т. д. Но эти зримые нити рассуждения связывают части уже готового образа, самый же образ, как целое, есть результат глубоко скрытого мышления, но именно не результат произвольной игры фантазии, а результат мышления, т. е. собирания и согласования тех бессознательных знаний о мире и о себе, которым сон открывает доступ в сознание.

Далее: мышление это совершенно так же, как мышление наяву не только приводит в порядок свой материал, но из его упорядоченной совокупности умозаключает вероятное в будущем. Дневной рассудок предвидит на основании грубо-чувственного знания, ночной разум предвидит на основании тончайших восприятий; и соответственно различны их предвидения. Рассудочное предвидение правдоподобно для рассудка, предвидение сна пред судом рассудка — дикий бред; но в нем скрыто пророчество мудрое и верное, потому что основанное на тончайших показаниях чувств. И опять — логический процесс предвидения и здесь остается скрытым: налицо лишь его итог — законченный пророческий образ; Отрепьев себя **видит** падающим с башни, Марья Гавриловна видит Владимира мертвым. Татьяна видит Онегина убивающим Ленского и т. п., — и это видение нам кажется чудом. Итак, мышление совершается не только в верхнем слое человеческого духа: оно пронизывает всю толщу духа до глубин. Самая пламенная фантастика и самое смутное чаяние еще скреплены внутренно размышлением как цементом. И я думаю, философия сновидений, которую я открываю в творчестве Пушкина, сложилась у него тоже безотчетно и вместе логически, работою разума в темной глубине души.

Статья для однодневной газеты „Пушкин“.

Мое поколение — вероятно последнее, которое еще молодило в жизни хоть и слабые следы живого Пушкина. Мы еще знали людей, видевших Пушкина; позднейшим осталось лишь то, что хранится в музеях, его вещи и рукописи. Мне в юности мой дед, всю жизнь проживший в Кишиневе, рассказывал о Пушкине, которого он мальчиком лет 12 — 13 видал в городском саду во время гуляний бегающим в клетчатых панталонах и с тростью. Позднее в Москве, студентом, я не раз встречал на бульваре А. А. Пушкина, старшего сына поэта, высокого, худощавого старика в генеральском сером пальто на красной подкладке, и проходил мимо его парадной двери с медной дощечкой: „А. А. Пушкин“, в доме Дымкова на углу Трубниковского и Дурновского пер., а рядом, на столбе ворот, высоко висела черная доска, где написанный мелом список жильцов начинался строками; 1. А. А. Пушкин, и 2. П. В. Жуковский; в этом доме жил и старший сын В. А. Жуковского. Позднее, в этом же доме, но с другого конца, на углу Кречетниковского пер., на низкой парадной двери появилась карточка М. А. Гартунг, дочери Пушкина.

В Кунцеве, летом, присела возле меня ветхая старушка с котомкою, и рассказала, что она пришла из Москвы к барыне — дачнице, принесла чулки, связанные по заказу, и вот, не застала её; и что была она крепостная, принадлежала Нащокину Павлу Воиновичу, и зовут ее Устиньей, звали Устьей, и была она бойкая и веселая; и бывало придет Александр Сергеевич Пушкин, тот чей монумент на Тверском бульваре, и уж всегда требует, чтобы она ему прислуживала; и раз живописец стал писать его портрет, лицо написал, а Александру Сергеевичу понадобилось спешно уехать, и живописец остальное, т. е. плечи и грудь, писал с нее, потому что она подходила фигурой; а Вера Александровна (жена Нащокина) была злая барыня, и бывало в праздник Александр

Сергеевич упросит ее отпустить девушек погулять под Новинским; очень добрый был.

Мало? Да почти ничего; но и в этом малом еще есть обаяние.

Когда, недели две назад, ко мне пришел т. Никифоровский, заведующий Пушкинским заповедником в Псковской губ., приехавший в Москву хлопотать о 500 рублях, и рассказывал о том, что у них делается в Святых Горах, в Михайловском, в Опочке — мне было весело слушать эти Пушкинские имена, уже не книжные, а имена живых мест, где вот этот человек живет и ходит.

Ответ на анкету «Пушкин и современность»

Что поэзия Пушкина жива, доказывается самым фактом: Державина и Батюшкова уже не читают, Пушкина читают много; даже отвратительное разжевывание его в школе неспособно убить любовь к нему. Очевидно, его поэзия еще чем то нужным питает людей. Что же в ней нужного для нас? — На этот трудный вопрос я ответил бы так.

Обычно человек воспринимает действительность прозаически, т. е. извне, объективно и холодно. Это холодное восприятие либо до конца остается безучастным, — тогда мы почти не видим и не слышим, — либо вспыхивает в одной точке техническим, утилитарным интересом, который пренебрегает целостью явления. Так образуется обычное душевное состояние людей — мертвенно-будничное или возбужденно-практическое: ни то, ни другое — не полная жизнь души.

Но и в самом равнодушном созерцании вещей есть зародыши иного, высшего восприятия — целостно - возбужденного или поэтического. В весенний день тысячи людей проходят по Арбату безучастные или озабоченные; но выйдет ребенок, или влюбленный, или чем-нибудь осчастливленный, — какой чудесной выразительностью обрадует улица их сияющие глаза! Нет ни одного человека, которому не было бы доступно такое восприятие; оно потенциально заключено в каждом созерцании, как звук — в молчащей струне. Художник есть тот, кто так видит и так живет много и длительно и кто умеет таким показывать нам мир. В этом видении мира больше страсти, чем в будничном восприятии,—и больше правды, чем в техническом. Огонь и правда — вот чем питает нас искусство; а Пушкин в России до сих пор — наивысшее явление поэзии.

Плагиаты Пушкина

В июне 1821 года Пушкин из Кишинева просит брата Льва прислать ему «Тавриду» Боброва. На что могла бы ему понадобиться жалкая поэма бездарнейшего из шишковистов, пьяного, тупого, напыщенного Бибруса, которого он знал уже в Лицее и над которым вдоволь насмеялись и Батюшков, и Вяземский, и он сам, начиная с 1814 года («К другу стихотворцу»)? Но брат прислал ему книгу Боброва: Таврида, или мой летний день в Таврическом Херсонисе, лирико-эпическое песнотворение, сочиненное капитаном Семеном Бобровым», Николаев, 1798. Ужасающие вирши этой поэмы лишены рифм: Бобров принципиально отрицал рифму, и все его поэмы писаны белым стихом. В то время Пушкин несомненно уже задумал «Бахчисарайский фонтан». Прочитал ли он всю «Тавриду» (в ней ни мало, ни много 278 страниц), или почитал в ней только местами, но он что то выклевал в ней и сложил в свою память. Год спустя он писал «Бахчисарайский фонтан»; и вот, когда поэма была готова и послана Вяземскому для издания, Пушкин — по поводу употребленного им в «Фонтане» сло́ва „скопец“, которое Вяземский нашел неудобным для печати:

> Там, обреченные мученью,
> Под стражей хладного скопца,
> Стареют жены...

пишет Вяземскому (в ноябре 1823 года): „Меня ввел в искушение Бобров; он говорит в своей Тавриде. «Под стражею скопцов Гарема». Мне хотелось что нибудь у него украсть“. У Боброва сказано:

> Иль заключенные сидят,
> Как бы Данаи в медных башнях,
> Под стражею скопцов в Гаремах.

Эта умышленная кража стиха у несчастного Боброва — что это? простое озорство? Но П. О. Морозов в примечаниях

к «Бахчисарайскому фонтану» (в Академическом издании сочинений Пушкина) указал, что Пушкин, вероятно, заимствовал у Боброва имя Заремы, переделав его из Зарены Боброва; мало того—что уже совсем поразительно—несомненное заимствование из «Тавриды». Морозов открыл в седьмой главе «Онегина», в строфе столь вдохновенной, что казалось бы, немыслимо заподозрить ее оригинальность; первые строки 52-й строфы:

У ночи много звезд прелестных,
Красавиц много на Москве,
Но ярче всех подруг небесных
Луна в воздушной синеве —

эти строки несомненно восходят к стихам Боброва:

О, миловидная Зарена!
Все звезды в севере блестящи,
Все дщери севера прекрасны;
Но ты одна средь их луна.

«Тавриду» Пушкин читал в 1821 году, — ту Онегинскую строфу писал в 1828-м; как же зорко он читал даже такую дрянь, и какая память на чужие образы и стихи!

Как известно, в своих примечаниях к «Онегину» Пушкин сам вскрыл ряд поэтических припоминаний и цитат, заключенных в его романе. Если присмотреться к этим местам, они в своей совокупности обнаруживают одну особенность Пушкина, какой, если не ошибаюсь, мы не встречаем ни у какого другого поэта равной с ним силы; именно, оказывается, что его память, хранившая в себе громадное количество чужих стихов, сплошь и рядом в моменты творчества выкладывала перед ним чужую, готовую поэтическую формулу того самого описания, которое ему по ходу рассказа предстояло создать. Описывает ли он летнюю ночь на Неве, — он вспоминает соответствующее место в идиллии Гнедича; хочет ли изобразить Онегина стоящим на набережной, — память автоматически подает ему строфу Муравьева о поэте, —

Что̀ проводит ночь бессонну,
Опершися на гранит;

приступает ли к изображению зимы, — он вспоминает «Первый снег» Вяземского и описание зимы, в „Эде“ Баратынского; нужно ли ему описать наступление утра знаменательного дня, память услужливо напоминает стихи Ломоносова: „Заря багряною рукою“ и т. д.; только написал стих: „Теперь у нас дороги плохи“, — и вспомнил стихи Вяземского: „Дороги

наши — сад для глаз"... Гёте и Байрон, Тютчев и Фет совершенно свободны от этой литературной обремененности. В Пушкине она была чрезвычайно велика, и характерно, что он нисколько не боялся ее, напротив — свободно и, повидимому, охотно повиновался своей столь расторопной памяти. Припомнилась строфа Муравьева — и Пушкин так легко переплавляет ее в свои стихи:

С душою, полной сожалений,
И опершися на гранит,
Стоял задумчиво Евгений,
Как описал себя пиит;

припомнились кстати стихи Ломоносова, — Пушкин пускает их в дело:

Но вот багряною рукою
Заря от утренних долин
Выводит с солнцем за собою
Веселый праздник именин.

Эти заимствования указаны самим Пушкиным в его примечаниях к «Онегину»; но вот ряд заимствований в том же романе, Пушкиным не отмеченных, т. е. утаенных, следовательно, по принятому словоупотреблению, — плагиатов. И всюду та же картина: дойдя до некоторого описания, Пушкин тотчас непроизвольно вспоминает тожественную или сходную ситуацию в чужом поэтическом произведении и стихи, которыми тот поэт описал данную ситуацию; так, представший его воображению образ: море — волны — любимая девушка — ее ножки — тотчас, как бы по условному рефлексу, вызывает в его памяти соответственную картину и стихи в «Душеньке» Богдановича:

Гонясь за нею, волны там
Толкают в ревности друг друга,
Чтоб, вырвавшись скорей из круга,
Смиренно пасть к ее ногам, —

и Пушкин без стеснения перефразирует эти стихи (Онегин. I. 33):

Как я завидовал волнам,
Бегущим бурной чередою
С любовью лечь к ее ногам.

Или хочет он изобразить веселую гурьбу ребят на воде — он вспоминает из той же «Душеньки» сходный образ:

Тритонов водяной народ
Выходит к ней из бездны вод, —

и пишет пародируя, (Онегин. IV 42):

Мальчишек радостный народ...

и дальше:

Задумав плыть по лону вод...

или, описывая Москву, вспоминает стихи из описания Москвы у Батюшкова (К Д. В. Дашкову, 1813 г.):

И там, где зданья величавы
И башни древние царей,
Свидетели протекшей славы, —

и повторяет последний стих (Онегин. VII 38):

Прощай, свидетель нашей славы,
Петровский замок!

Прежние исследователи, в особенности В. П. Гаевский, Л. Н. Майков, П. О. Морозов и Б. Б. Никольский, обнаружили у Пушкина, даже в поздние периоды его творчества, не мало поэтических реминисценций, преимущественно, правда, из французских поэтов. Он несравненно обильнее черпал у своих русских предшественников и даже современников, и мы еще далеки от правильного представления о размерах этой его практики, — о количестве и бесцеремонности его заимствований. Я приведу ряд русских заимствований Пушкина, до сих пор, кажется, не обнаруженных.

Он начал: „Богат и славен Кочубей", — хочет сказать: „богат по украински", память подает ему украинские стихи Рылеева («Петр в Острогоске», напеч. в 1823 г.):

Где в лугах необозримых
При журчании волны
Кобылиц неукротимых
Гордо ходят табуны. —

он берет строфу и лепит из нее свои стихи:

Его луга необозримы;
Там табуны его коней
Пасутся вольны, не хранимы.

Ему понадобилось напомнить о том, как Олег прибил свой щит к воротам Константинополя, — он берет четверостишие Рылеева («Олег вещий», напеч. в 1822 г.):

Но в трепет гордой Византии
И в память всем векам
Прибил свой щит с гербом России
К Царьградским воротам —

и воспроизводит их стих за стихом (Олегов щит, 1829 г.):

Тогда во славу Руси ратной,
Строптиву греку в стыд и страх,
Ты пригвоздил свой щит булатный
На Цареградских воротах.

Из его писем мы знаем, что он в Кишиневе читал «Сын Отечества»; и вот, в 1821 году он прочитал в этом журнале стихотворение В. Филимонова «К Леоконое», перевод оды Горация; восемь лет спустя он вспомнит отсюда три стиха:

И разъяренные валы,
Кипящи пеною седою
Дробят о грозные скалы, —

и начнет свой (Обвал. 1822) перифразом этих стихов:

Дробясь о мрачные скалы,
Шумят и пенятся валы.

Желая выразить свое удивление пред идиллиями Дельвига, он вспомнил стихи старого В. Капниста, хвалу Батюшкову за то, что он

в хладном севере на снеге
Растил Сор(р)ентские цветы.

(в Послании к Батюшкову), и в своей эпиграмме повторил этот образ (Загадка):

Кто на снегах возрастил Феокритовы нежные розы?

Стих Батюшкова (Элегия, из Тибулла, 1814 г.):

На утлом корабле скитаться здесь и там

вспомнился ему в 1836 году, и он воспользовался им („Из Пиндемонте“):

По прихоти своей скитаться здесь и там.

В «Полководце», по поводу Барклая де Толли, он неожиданно вспоминал стих Княжнина, из его „Послания от Рифмоскрыпова дяди“:

Ты помнишь ли врача, достойна слез и смеха?..

— и повторил его по своему:

О, люди, жалкий род, достойный слез и смеха.

В урочную минуту он вспомнит стих И. И. Дмитриева — тоже о портрете (о портрете гр. Румянцова):

Украшу им свою смиренную обитель,

и скажет (в Мадонне):

Украсить я всегда желал свою обитель.

и дальше — у Дмитриева (К гр. Н. П. Румянцеву, 1798 г.) и у Пушкина одна и та же рифма: зритель).

Надо заметить, как часто заимствование сопровождается у Пушкина тожеством стихотворного размера; в этом отношении последние три случая особенно разительны. Таково же и следующее заимствование у Державина; его стих, из «Водопада»:

Что в поле гладком, вкруг отверзтом

как и самый размер, мы находим в Пушкинском наброске 1830 года:

Как быстро в поле, вкруг открытом...

Стих в «Туче» Пушкина, так не нравившийся Толстому и Тургеневу:

И молния грозно тебя обвивала

заимствован у Дмитриева, из перевода 3-й оды, 1-й книги Горация (1794 г.):

И стрелы молний обвивали
Верхи Эпирских грозных скал.

(Любопытно это как бы сомнамбулическое перенесение эпитета «грозный», от скал к самой молнии)

У того же Дмитриева (из стих. «Мой друг, судьба определила», 1788 г) Пушкин заимствовал стих:

И жар к поэзии погас,

слегка изменив его:

Но огнь поэзии погас
(Эпилог Руслана и Людмилы).

. . . .

ПРИМЕЧАНИЯ

В настоящий сборник вошли статьи М. О. Гершензона о Пушкине, ни разу не объединенные им в отдельной книге. Две статьи из собранных здесь «Путешествие в Арзрум» и «Заметка для однодневной газеты «Пушкин» печатаются впервые. Остальные были опубликованы в следующих изданиях. «Сны Пушкина» в сборнике Пушкинской Комиссии при Общ. люб. Р. С. «Пушкин» под ред. Н. К. Пиксанова, М., 1925 г.; «Тень Пушкина» — в журнале „Искусство", № 1, 1923 г.; „Чтение Пушкина" и „Явь и Сон" в „Вопросах Психологии Творчества" кн. VIII (ред. Лезина), 1923 г.; «Пушкин и Батюшков» в историко-литер. временнике „Атеней" I, II, 1924 г.; «Граф Нулин» при поэме в издании М. В. Собашникова, М., 1918 г.; «Пушкин и Чаадаев» — в т. VI Пушкина, изд. Брокгауз и Эфрон. П., 1915 г.; «Плагиаты Пушкина» — в „Искусстве" № 2, 1925 г.; «Ответ на анкету „Пушкин и Современность" в журнале «Всемирная Иллюстрация» за 1924 г.

Некоторого комментария требует только неоконченная статья «Плагиаты Пушкина». Над этим исследованием М. О. Гершензон работал перед самой своей смертью. К каким выводам пришел бы покойный исследователь в результате сделанных сопоставлений осталось неизвестным для его окружающих. Ни в бумагах М. О. Гершензона нет указаний на замысел этого исследования, ни в личных беседах он никому не успел сообщить конечных целей своей работы. Сохранился только ряд подготовительных карточек к этой статье, на которых выписаны стихи различных поэтов, предшественников и современников Пушкина, чьи произведения могли оказывать на него литературное влияние. Приведем некоторые из этих выписок, в ряде случаев указывающих на несомненные совпадения. Мы воспроизводим ряд карточек без соответствующих цитат из Пушкина, в виду общеизвестности приведенных в них стихов.

«Словом, видел ли *картины,*
Непостижные уму?

Державин. Хариты. 1796.

Тогда пустыннику явятся
Химеры, адские мечты,
Плоды душевной пустоты.

Карамзин. Послание к А. А. Плещееву. 1794.

Он любит отдыхать с Эратой
Разнообразной и живой.

Батюшков. К. С. С. Уварову. 1817.

Один в нас (поэтах) *пламенеет жар.*

Жуковский. К кн. П. А. Вяземскому. 1814.

Как серны, вниз склонив рога,
Зрят в мгле спокойно под собою
Рожденье молний и громов.

(О Кавказе).

Державин. На возвращенье гр. Зубова из Персии. 1797.

и стихи Жуковского в его послании к Батюшкову. 1812.

О друг! *Служенье муз*
Должно быть их достойно.

Приведем также несколько карточек полностью (с соответственными пушкинскими стихами).

«В 19 окт. 1825 г. стих (о Кюхельбекере) —

Мой брат родной по музе, по судьбам.

и стих Боратынского в «Пирах» 1821 г. о Дельвиге:

Мой брат по музам и по лени.

Чья кисть, чей пламенный резец...

П. Кто знает край. (1827).

Я. Н. Толстой в послании к Пушкину 1819 г.:

Возьми-ж свой пламенный резец,
Владыко рифмы и размера...

Славы блеск.

Радищев, «Бова».

Батюшков. „Мечта“. 1803.

Ни свет, ни славы блеск пустой.
Пл. «Все в жертву памяти твоей». 1825.
И славы блеск, и мрак изгнанья.

И смерть, и жизнь, и бешенство желанья
Бегут по вспыхнувшей крови.

Д. Давыдов. „О, пощади!“. 1817.

П. К. Ф. Ф. Юрьеву.

Я нравлюсь юной красоте
Бесстыдным бешенством желаний. 1818.

Мечтателю. 1818:

И сохнул в бешенстве бесплодного желанья.

Дорида. 1820.

В Дориде нравятся и локоны златые.

У Батюшкова:

В Лаисе нравится улыбка на устах.

Погасло дневное светило. 1820.

Волнуйся надо мной, угрюмый океан.

У Батюшкова. 1819.

Шуми же ты, шуми, угрюмый океан.

Трудно отказать большинству приведенных сопоставлений в несомненном и едва ли случайном сходстве. Ряд других сближений менее убедителен, в силу чего мы их пока и не воспроизводим. Несмотря на обилие разработанных текстов, основная мысль М. О. Гершензона остается, повторяем, неясной, и заглавие его статьи загадочным.

СОДЕРЖАНИЕ:

		Стр
	Л. Гроссман. Гершензон-писатель	5
1.	Чтение Пушкина	13
2.	Пушкин и Батюшков	18
3.	Чаадаев и Пушкин	31
4.	Граф Нулин	42
5.	Путешествие в Арзрум	50
6.	Явь и Сон	60
7.	Тень Пушкина	69
8.	Сны Пушкина	96
9,	Статья для однодневной газеты „Пушкин“	111
10.	Ответ на анкету „Пушкин и современность“	113
11.	Плагиаты Пушкина	114
	Примечания	120